

РОДИТЕЛИ — ДЕТЯМ

● С детьми каждый из нас связывает все лучшее, светлое, доброе потому, что они продолжатели нашего дела, наша гордость и наша любовь. Государственное страхование — это форма проявления заботы о подрастающем поколении. Заключение договор страхования детей могут родители и все близкие родственники ребенка.

● Незаметно пролетит время, и ко дню совершеннолетия застрахованным юноше или девушке будет выплачена обусловленная договором сумма, а это, к примеру, 300, 400, 500 рублей.

● Месячные взносы по договорам страхования детей зависят от возраста ребенка, срока страхования и страховой суммы.

● Учреждения государственного страхования осуществляют также соответствующие выплаты при стойком расстройстве здоровья застрахованного ребенка от травмы и других событий, предусмотренных договором. При этом подлежащая выплате страховая сумма может быть удвоена или утроена, если договор был заключен на таких условиях.

● Взносы уплачиваются путем безналичных расчетов или наличными деньгами.

● Ознакомиться подробнее с условиями страхования и заключить договор можно в инспекции госстраха или у страхового агента, обслуживающего ваше предприятие, учреждение или организацию. Страхового агента можно пригласить на дом.

Главное управление государственного
страхования СССР



№ 24

1988



Юрий БУРТИН

**ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОЗРАЗИТЬ**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

Юрий БУРТИН

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОЗРАЗИТЬ

СТАТЬИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Юрий БУРТИН

Юрий Григорьевич Буртин родился в 1932 году в семье сельского врача. По окончании филологического факультета Ленинградского университета восемь лет учительствовал в Костромской области. В 1959—1969 гг. выступал в печати как литературный критик, преимущественно в журнале «Новый мир», где в 1967—1970 гг. редактировал раздел «Политика и наука», а также в «Литературной газете», журналах «Вопросы литературы», «Дон» и др. (статьи о «деревенской прозе» 50—60-х годов, статья «О частушках», 1968 г., и др.). В 1970—1985 гг. почти не печатался. Автор ряда работ о творчестве А. Т. Твардовского. В последние годы вновь активно участвует в литературном процессе как публицист и литературный критик. Работает в издательстве «Советская энциклопедия». Член Союза писателей СССР.

«ВАМ, ИЗ ДРУГОГО ПОКОЛЕНИЯ...»

К публикации поэмы А. Твардовского «По праву памяти»

Ну вот и грянули наконец с журнальной страницы эти много лет назад — кажется, в другой жизни — запомнившиеся слова:

...Отринь отца и мать отринь...

Ясна задача, дело свято, —
С тем — к высшей цели — прямоком.
Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.

И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя.

Любой судьбине благодарен,
Тверди одно, что он велик,
Хотя б ты крымский был татарин,
Ингуш иль друг степей калмык.
Рукоплещи всем приговорам,
Каких постигнуть не дано.
Оклевеши народ, с которым
В изгнание брошен заодно.

И в душном скопище исходов —
Нет, не библейских, наших дней —
Превозноси отца народов:
Он сверх всего,
Ему видней.

Давно наша милая, умненькая поэзия, наперебой придумывающая, как бы поинтереснее стать и повернуться, давно она не слыхала такого

грозного пафоса, такого могучего сарказма. Она привыкла к игре, к условности, а тут вдруг Твардовский с его суровой, мужицкой, толстовской прямоотой. Литературным гурманам она, конечно, будет не по вкусу, но не для них это и писано. А в живых человеческих душах, в тех, кого на самом деле томила и томит «немая боль» народной судьбы, слово поэта, без сомнения, нашло и будет находить сочувственный и благодарный отклик.

И все же вслед за первым чувством радости, что публикация поэмы наконец состоялась, да еще как — сразу в двух ведущих журналах («Знамя», 1987, № 2; «Новый мир», 1987, № 3), к нему почти тотчас же примешалось и другое — сожаление и горечь: сегодня ли надо было это опубликовать!

С того, пожалуй, и начнем.

«Рукописи не горят». Эти слова из 24-й главы булгаковского «Мастера и Маргариты» вошли в наше сознание как пароль стойкости и веры, горькой и мужественной решимости художника творить, исполняя свое предназначение и тогда, когда враждебные обстоятельства лишают его всякой надежды увидеть свой труд обнародованным. Прекрасные, гордые слова! Блистательно подтвержденные судьбою романа, где были произнесены, они несли в себе мощный нравственный заряд и в годы минувшего безвременья укрепили, конечно, многих.

Но правда этих слов тотчас превращается в кощунственную неправду, стоит лишь придать той же максиме этакую примирительную, умиротворяющую интонацию (какой никогда не придаст ей сам художник): ну что ж, дескать, ничего страшного, не напечатали вчера — напечатают сегодня или завтра, рукописи, как говорится, не горят.

Тут уже непременно хочется возразить. Горят да еще как! И сколько их за нашу историю сгорело — не только в отдаленные времена, но и в более или менее близкие к нашим дням. Где, например, рукописи, Бабеля, Мандельштама, Павла Васильева, Воронского, Виктора Кина, Хармса, десятков и сотен других писателей, ставших жертвами несправедливых репрессий? А сколько талантливых произведений осело на фильтрах самой печати и контролирующих ее ведомств! А сколько — из-за заведомой невозможности пройти эти фильтры — даже до них и не дошло... Все это потери нашей мысли, нашей культуры, и во множестве случаев невозвратные, невозполнимые.

Это во-первых. А во-вторых, и в варианте более благополучном, когда, пролежав в столе по причинам, от автора не зависевшим, вещь все же в конце концов приходит к читателю, но много позже своего естественного срока, — разве это ее выпадение из с в о е г о времени не такая же, в сущности, потеря?

Скажут, пожалуй: но ведь истинные ценности искусства живут долго и за пределами своего времени.

У меня да и у вас в запасе вечность.
Что нам потерять часок-другой?!

В самом деле, так ли уж важны какие-нибудь потерянные 10—20 или даже 50 лет, если впереди у произведения — века? А с другой стороны, дескать, нет и худа без добра. Вещь пролежала ненапечатанной 10—20 лет — вот теперь и посмотрим: выдержала ли она проверку временем? Выдержала, читается с прежним интересом — ну что ж, тогда пусть живет. Выглядит устаревшей — так, может, правильно и сделали, что в свое время не дали ей ходу?..

Что касается последнего рассуждения, то лукавство его обнаруживается простым вопросом: справедливо ли, что подобная предварительная «проверка временем» уготована обычно лишь острокритическим книгам (фильмам, спектаклям), а благополучная серость птицей летит в печать? Но и убедительность тезиса насчет безразличия истинных произведений искусства ко времени их опубликования также при ближайшем рассмотрении оказывается мнимой.

Конечно, философская притча о жизни и смерти или стихотворение о любви могут быть в этом смысле более независимыми, хотя и на решение «вечных тем» время накладывает свой отпечаток. Но разве содержание литературы исчерпывается «вечными темами»? А в большинстве других случаев вынуть книгу, даже гениальную, из своего времени — значит в большой степени лишить ее живого общественного значения. Попробуйте-ка представить себе, например, «Мертвые души» опубликованными не в 1842-м, а в 1862 году, в пореформенной уже России. Все, все осталось бы при них: и художественность портретов и пейзажей, и лирические отступления, и удивительный гоголевский язык, и грандиозная общая идея, — но того потрясения, того переворота в умах, какой вызвала эта книга в поколении 40-х годов, она уже отнюдь не совершила бы. Это было бы, как и для человека наших дней, прекрасное, классическое ч т е н и е, доставляющее удовольствие и пользу, но не более того. То же самое, если бы не в 1862-м, а, скажем, в 1882 году появились бы тургеневские «Отцы и дети». Разве всколыхнула бы тогда эта книга всю читающую Россию, разве стала бы она предметом столь яростных споров, разве имела бы хотя бы четверть того воздействия на духовное самоопределение новой русской интеллигенции, как в то время, которым была рождена и для которого предназначена?

Дорога ложка к обеду. Согласимся, как с аксиомой: когда талантливая, значительная вещь, отвечающая насущным потребностям своего времени, надолго запаздывает с выходом к читателю, это вредит не только ей самой, ее успеху и влиянию, но и обществу, чьему развитию она могла бы послужить, да не послужила. Не послужила в тот единственный момент, когда была ему особенно нужна, а там живи она потом хоть тысячу лет — момент этот больше не повторится, урон так и останется невосполненным. И урон не только тому поколению, к которому

вещь непосредственно была обращена, но через него — и всей последующей истории народа.

В наши дни, в апогее всеобщего увлечения возможностью прочесть многое из того, что долгие годы оставалось под запретом (тут тебе и «Новое назначение» Бека, и «Реквием» Ахматовой, и «Котлован» Платонова, и «Собачье сердце» Булгакова, и «Доктор Живаго» Пастернака), полезно все это иметь в виду. В частности, и для того, чтобы не поддаваться ни вышеупомянутой сытой умиротворенности (дескать, все в конце концов устраивается, справедливость торжествует), ни столь же неосновательному «разочарованию»: вот, мол, напечатали — и ничего не случилось, интересно, конечно, но событием вещь не стала... Ну, а будь сегодня впервые изданы, например, «Божественная комедия» или «Дон Кихот», «Фауст» или «Тихий Дон» — стало бы это «переворачивающим» событием современной жизни, способным коснуться всех и каждого? Более чем сомнительно. Вряд ли очередь в библиотеке за книжкой журнала с подобными произведениями мировой классики была бы длиннее, чем, например, за «Печальным детективом» В. Астафьева, далеко не классическим по своим художественным достоинствам, зато жгуче современным. То-то и оно.

Судьба последней поэмы Твардовского, — как и предпоследней, «Теркин на том свете»¹, о чем нужен отдельный разговор, — служит горьким подтверждением названной аксиомы. И не только в том смысле, что в обоих случаях готовая, законченная вещь вопреки воле автора многие годы оставалась у нас неопубликованной. Гораздо большее другое: то, что своим содержанием и временем написания она принадлежала одному этапу общественного развития, до читателя же дошла на другом, качественно отличном от первого. Когда вокруг шумит уже иная жизнь, и у нее свои проблемы, и даже проблемы прежние стоят уже как-то по-другому, с учетом опыта истекших лет.

«Вам, из другого поколения», чтобы должным образом воспринять поэму «По праву памяти», разделить одушевляющий ее публицистический пафос, нужно прежде всего понять ее отношение к тому времени, которым она была рождена. Но что знает об этом времени — о наших 60-х годах — основная масса современных читателей, те, кому сегодня 30—35, а тем более 20? Рискнем утверждать, что почти что ничего. Да и откуда знать? Нынешний молодой человек, если и помнит названный период истории, то в лучшем случае как свои детские годы, которых взрослая жизнь еще не успела коснуться. В школе о нем не говорят, а если и скажут невнятную фразу насчет преодоления какого-то «субъек-

¹ Закончена весной 1954 г., однако не разрешена к печатанию и даже послужила одним из главных (хотя и необъявленных) обвинений против Твардовского, приведших к снятию его в первый раз с поста главного редактора «Нового мира» (23 июля 1954 г.). Опубликована (в новом варианте) лишь девять лет спустя и вскоре вновь оказалась в длительной опале.

тивизма и волюнтаризма», то, влетев в одно ухо, она тотчас вылетит в другое. Ни по телевизору это время не показывают, ни романов о нем не пишут, ни исторических трудов. В результате наш молодой современник даже о войне или о нэпе имеет более ясное понятие, чем о таком еще недалёком прошлом. Правда, кое-что ему могли бы рассказать матери и отцы, но, за редкими исключениями, они и сами не очень-то знают, как им относиться к той полосе жизни, ругать ее или хвалить.

Вот и получается, что раньше всякой прочей критики поэма «По праву памяти» требует сегодня просто-напросто реального исторического комментария — без экивоков и умолчаний.

Главный вопрос: зачем понадобилось Твардовскому во второй половине 60-х годов писать поэму о Сталине? Даже в 1963 году, когда были сделаны ранние наброски нескольких ее строф, а тем более в 1966-м, когда мелькнувшая было тема вернулась к нему и заставила заняться собой вплотную¹, Сталин — это было уже прошлое, пусть не слишком еще далекое, хорошо памятное, с в о е, но все же прошлое, отделенное от текущего момента не просто 10—15 годами, а целым периодом общественного развития. Захотелось вдруг написать историческую поэму? На Твардовского это было бы решительно непохоже. Всегда живший в поэзии тем, чем на данном этапе своего общественного бытия живет не та или другая группа людей, а н а р о д, народ в целом, и именно на этом, общенародном уровне чутко улавливавший все исторические изломы и переходы, он был своего рода летописцем эпохи, но никак не писателем-«сочинителем» в обычном смысле слова. Переберите в памяти все его крупные вещи — ни одна из них не явилась «просто так», по прихоти вольной поэтической фантазии, но все — как бы по воле истории, каждая открывала, выражая в самых существенных ее чертах, какую-то

¹ Творческая история поэмы в основных ее моментах изложена в предисловии М. И. Твардовской к публикации «По праву памяти» в «Новом мире»: «Годы работы над поэмой, которыми она помечена (1966—1969), не совсем точны. Об этом свидетельствуют приведенные здесь наброски и запись из рабочей тетради автора, по-видимому, запямятовавшего о существовании самых первых строк, в декабре 1963 г. занесенных на страницу как замысел и затем оставленных. Лишь в июле 1965 года автор вновь и ненадолго возвращается к ним. (...) Всерьез вернуться к поэме Твардовский смог в 1966 году. От кратковременных «присестов» (как обозначал он эпизодическую работу) он переходит к «усидчивости». Поэма освобождается от вариантных эпизодов, набирает объем и глубину, многозвучность мотивов размышлений «о времени и о себе». С определенностью можно сказать, что тема «пяти слов» — центральная в поэме — сложилась в 1966 г.». Далее — о включении в текст поэмы стихотворения «На сеновале» («Новый мир», 1969, № 1) и о вариантах лирического предисловия к ней, «окончательная редакция» которого выражала решение автора «считать «По праву памяти» произведением самостоятельным, формально не связанным с ранее вышедшими вещами, в том числе и с поэмой «За далью — даль»» («Новый мир», 1987, № 3, с. 163—164).

новую крупную полосу, в которую вступала жизнь народа. «Страна Муравия» — 30-е годы, их духовный подъем и не тронутый никаким сомнением оптимизм строительства новой жизни. «Василий Теркин» — войну как особую историческую эпоху в ее общенациональном и общечеловеческом содержании и значении. «Дом у дороги» — первые послевоенные годы, «со всей бедой — войной вчерашней И тяжелой нынешней бедой». «Теркин на том свете» — социальный кризис конца 40-х — начала 50-х годов, когда постепенно вызревшие противоречия бюрократического режима достигли своей критической точки. «За далью — даль» — период с середины 50-х, время разрешения означенного кризиса и вызванного этим нового общественного подъема. Во всех этих случаях поэт словно бы и не выбирал свою тему, как не выбирают время, в которое живешь, — скорее сама тема, само время выбирали его, именно его в качестве своего глашатая и летописца. Его творческая фантазия была смелой и богатой (вспомнить сюжеты той же «Муравии» или «Теркина на том свете»), но она никогда не располагалась творчеством Твардовского, а лишь служила наиболее полному выражению истины народной жизни. Да и похоже ли «По праву памяти» на историческую поэму? Тут лирика, тут гневная и страстная публицистическая инвектива...

Предлагалось и другое толкование того руководящего мотива, который побудил автора к созданию новой поэмы: выраженное в ранних черновых набросках 1963 года ощущение, что в прежних своих вещах он «недосказал» о Сталине и его времени чего-то существенного. «Для нас, — пишет В. Дементьев, — чрезвычайно важным является и это свидетельство (о том, что первоначально Твардовский хотел дополнить новой главой поэму «За далью — даль». — Ю. Б.), и эта строка, начинающаяся словами «Недосказал...»:

...Недосказал. Могу ль оставить
В неполноте такую речь.
Где что убавить, что прибавить —
То долей правды пренебречь.

Здесь четко сформулирована основная нравственно-философская идея поэмы: правда о народной жизни не должна быть частичной или «выборочной», она не должна содержать и выпавших или сознательно скрытых звеньев...»¹.

Во всем этом есть известный резон: и требование полноты правды, и ощущение ее «недосказанности», и связанное с этим недовольство собой — мотивы для Твардовского вполне характерные. Заметим, однако, что строки, на которых критик сделал столь сильный упор, так и остались в черновиках, не перешли в окончательный текст. И не бедновата ли при всей своей правильности была бы в таком случае «основная нрав-

¹ Валерий Дементьев. Память сердца. Над страницами творческого наследия А. Т. Твардовского. «Литературная Россия», 1987, 24 апреля.

ственно-философская идея поэмы? Ну, разумеется, полная правда лучше неполной, но, взятая в столь общем виде, нуждается ли эта истина в поэтическом доказательстве? Ведь это была бы тогда не более как правильность трюизма.

Да и насчет «недосказанности» (если предположить, что и в 1966—1969 годах указанный мотив продолжал тревожить поэта)... Ведь в том-то и вопрос: почему именно тему Сталина он испытал потребность «досказать»? Мало ли оставалось других «недосказанных» тем! И мало ли, с другой стороны, к тому времени было уже написано о репрессиях «периода культа личности»! Во всяком роде — и в публицистическом, и в научно-историческом, и в художественном, и в мемуарном — память легко подсказывает книги и имена. Так почему же именно данную тему, именно в данном направлении и именно в данный момент Твардовскому захотелось «досказать»?

Как видим, предложенное объяснение само, в свою очередь, нуждается в объяснении и, таким образом, скорее уводит от существа дела...

Между тем ответа на поставленный вопрос не надо и искать, — он дан в самой поэме, вся заключительная глава которой как раз и является таким ответом. С первых же строк:

Забуть, забыть велят безмолвно;
Хотят в забвенье утопить
Живую боль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль — забыть!..

Забуть велят и просят лаской
Не помнить — память под печать,
Чтоб ненароком той оглаской
Непосвященных не смущать.

Вот он, прямой и ближайший источник поэмы... Не в «абстрактной» любви к полноте истины, а в мужественной решимости противостоять — «по праву памяти» — вполне конкретным попыткам наложить запрет на правду, умышленному, сознательно организуемому «забвению» преступлений сталинского времени. Но от кого исходил такой запрет, кому и зачем он был нужен?

Какой, в порядок не внесенный,
Решил за нас
Особый съезд
На этой памяти бессонной,
На ней как раз
Поставить крест?

В 1969 году это было ясно едва ли не всякому, кто не чужд был общественной жизни и следил за направлением ее развития, сегодня — не обойтись без пояснений.

За три с половиной десятилетия, прошедших после смерти Сталина, общественный интерес к этому лицу неизменно оставался чрезвычайно высоким. В немалой мере поддерживаемый и той атмосферой тайны, которой даже в пору наиболее резких разоблачений было окружено его имя, интерес этот обуславливался, конечно, главным образом тем, что при самых различных, до диаметральной противоположности, оценках личности и исторической роли Сталина со стороны представителей разных общественных групп роль эта объективно была очень велика и концентрировала в себе исторические обстоятельства поистине гигантского масштаба, определяющим образом повлиявшие на судьбы десятков и сотен миллионов людей. Тем не менее можно утверждать, что отчетливо политический характер, существенный для направления и результатов нашего общественного развития, обсуждение данной темы приобретало на протяжении указанного отрезка времени всего дважды. Первый раз это было в 1956—1964 годах, во время широкой и активной критики «культа личности», второй — во второй половине 60-х годов, когда эта критика стала столь же активно и организованно заглушаться. Нас здесь интересует в основном этот второй период, но правильно понять его исторический смысл можно лишь на фоне первого.

О времени, в просторечии называемом «эпохой Хрущева», часто говорят с пренебрежительной усмешкой. На то есть свои причины. И все же скажем сразу: такое высокомерие представляется и неисторичным, и нравственно сомнительным. Одни только распахнутые ворота лагерей и мужество признания — перед всем миром — в «массовых репрессиях» против собственного народа, беспримерных по своей жестокости и масштабам, — одни они уже достаточны для того, чтобы вспоминать об этом времени как об одной из высоких страниц отечественной истории.

Надо иметь в виду и следующее. Поднятая докладом Н. С. Хрущева XX съезду КПСС «О культе личности и его последствиях» волна критики Сталина год от году росла, захватывая все новые этапы и стороны его деятельности, набирая глубину и силу. То, что поначалу трактовалось как достойные сожаления «ошибки» и «отступления от ленинских норм», на XXII съезде партии (1961 г.) было прямо и резко названо по имени: «злодеяниями», «преступными действиями», «позорными методами руководства». А главное, критика «сверху» была подхвачена¹ и многократно усилена разрастающимся критическим движением «снизу». И хотя во взаимоотношениях между той и другой сторонами процесса имела определенная асинхронность, а по временам и довольно острые

¹ Отчасти же и предвосхищена, если вспомнить, например, такие факты истории литературы, как опубликование в «Новом мире» Твардовского еще в 1952 г. очерков В. Овечкина «Районные будни», а летом 1953-го — первых глав поэмы «За далью — даль», в том числе острокритической главы «Литературный разговор», как упоминавшийся первый вариант «Теркина на том свете», и др.

противоречия¹, в целом это был все же единый процесс, объективный исторический смысл которого состоял в демократизации, в замене сталинского «казарменного коммунизма» (от которого предостерегали Маркс и Энгельс)² качественно иным типом социализма, базирующимся на принципиально иных основаниях. В экономике — не на принуждении к труду, а на материальной заинтересованности в его результатах; в системе управления — на демократическом (вместо авторитарно-бюрократического) централизме, с расширением самостоятельности «мест» и элементами контроля «снизу»; во внешней политике — на идее мирного сосуществования (вместо враждебного противостояния) двух миров, на поисках возможностей взаимопонимания и сотрудничества...

Много и справедливо говорилось о недостатках тогдашней критики Сталина, главными из которых были сужение исторической ответственности до личной вины одного или нескольких лиц, сведение истории к констатации, пресечение всяких попыток предложить сколько-нибудь последовательный анализ причин, условий и последствий обнародованных кровоточащих фактов. Верно и то, что процесс социальных преобразований, которому эта критика давала духовную и политическую форму, нравственный импульс и ориентир, шел хаотично, неровно, во многом «методом проб и ошибок». Без сколько-нибудь основательного теоретического продумывания и той по-своему цельной, законченной, внутренне логичной системы, от которой хотели уйти, и того, к чему намеревались прийти, и, наконец, самих путей, этапов, способов перестройки. Без сознательного, последовательного раскрепощения инициативы и общественной самостоятельности масс, что только и могло придать процессу демократизации подлинную силу и необратимость. Более того, с не раз возобновляемыми попытками решать новые задачи старыми диктаторскими методами, верхушечными преобразованиями аппарата, повсеместным внедрением эфемерных, но обязательных хозяйственных панаций.

Сегодня нам нет никакого резона ни скрывать от самих себя названные недостатки, сильно повредившие тогда энергии, глубине и результативности очистительного процесса, ни преуменьшать их. Напротив, их нужно в полной мере осознать, в частности и для того, чтобы на новом этапе обновления не повторить подобных ошибок. И все-таки, все-таки... Как бы то ни было, предпринятые тогда шаги делались в общем к человеку, а не от него и не поверх него; процесс шел, пусть противоречивый и прерывистый, пусть не сумевший и не успевший получить хотя бы относительное завершение, но внутренне значительный

¹ Вспомнить хотя бы столь же резкую, сколь и несправедливую критику Хрущевым альманаха «Литературная Москва» и романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» (1956), мемуаров И. Эренбурга (1963) и ряда других произведений литературы и искусства, отлучение Пастернака (1958).

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, с. 338; т. 18, с. 414.

и исторически перспективный. Однонаправленный с нашей нынешней перестройкой.

Совсем по-другому всплыла сталинская тема несколько лет спустя.

Далеко не сразу стало понятно, что состоявшееся в октябре 1964 года смещение Хрущева явилось не просто сменой руководства, а началом нового периода в жизни страны. Событием, по своим последствиям для нее едва ли не равновеликим XX съезду, но с обратным знаком. Акцией, направленной не только против «волюнтаризма» и безудержного экспериментаторства (единственный мотив, предлагавшийся ей в объяснение и для многих тогда показавшийся убедительным), но, по сути дела, и против того позитивного общественного процесса, который составил содержание предыдущей исторической полосы. Мало-помалу, однако, особенно к концу десятилетия, когда была спущена на тормозах идея хозяйственной реформы, это стало достаточно очевидным (хотя никаких прямых заявлений на сей счет по-прежнему не делалось).

Дело не в том, чтобы произошло восстановление сталинского режима; это было бы и невозможно, и элементарное чувство самосохранения не могло не быть тут помехой. Как всегда бывало в истории, реставрация и в данном случае была лишь частичной и относительной. Можно сказать даже так: все преобразования в с и с т е м е, все то новое, что было внесено «эпохой Хрущева» в экономическую и социально-политическую организацию нашего общества, во внутреннюю и внешнюю политику Советского государства, новая эпоха сохранила и закрепила. За одним-единственным исключением: был остановлен, пресечен тот процесс демократизации, о котором говорилось выше. И этого было достаточно, чтобы радикальным образом изменить всю картину. Пусть и предыдущая полоса в данном отношении (как и в ряде других, например, в росте и интенсификации производства) достигла еще немногого, как бы то ни было, общество находилось в движении, в поисках; в нем жила сильная тенденция к самоизменению. Ситуация была противоречивой, но динамичной и открытой. И вот все это было остановлено, динамика превратилась в статику, а та уже сама собой — в омертвляющую застойность. Общественная структура, утвердившаяся в результате такой операции вычитания (социализм минус демократия), была, конечно, во многих отношениях более эластичной, чем та, что существовала до середины 50-х годов, но как та, так и другая признавали неписаной нормой администрирование, авторитарно-бюрократический характер взаимоотношений между руководителем и массой, систему привилегий для вышних этажей конусообразной социальной иерархии; как та, так и другая, провозглашая лозунги движения, в действительности были внутренне ориентированы только на с т о я н и е, на поддержание и охрану существующего порядка вещей. К чему это привело, хорошо известно.

А идеологической формой этого «вычитания», своего рода эмблемой изменившейся официальной установки стала именно смена акцен-

тов по отношению к Сталину, линия на его моральную реабилитацию в глазах народа.

Проводилась она, эта линия, последовательно и, надо признать, не без успеха. Отнюдь не прямым отрицанием сделанных ранее разоблачений — это было бы трудно и могло бы иметь обратный эффект, — а придуманным сочетанием полуправды и умолчания. Полуправды — в том, что касалось роли Сталина в Отечественной войне, единственного момента его биографии, который мог быть морально выигрышным в глазах общества. И умолчания обо всем остальном.

Успеху первой части названной программы немало послужило и то обстоятельство, что в предыдущие годы о деятельности Сталина во время войны говорилось, в свою очередь, очень мало, сквозь зубы и с односторонним упором на его ошибки, на помехи, которые вносил его деспотизм в организацию тех или иных военных операций. (Твардовский, гордый человек, никогда не пристраивавшийся к хору, был тогда одним из немногих, кто выступал против подобной односторонности, — см. главу «Так это было» из поэмы «За далью — даль», особенно в изданиях 1960—1961 гг.) И вот теперь, как бы в исправление допущенной несправедливости, которая, надо сказать, многих тогда раздражала, сначала поодиночке, а затем все расширяющимся косяком пошли мемуары, filmy, наконец, романы, заново приучавшие читателя и зрителя к мысли об особых заслугах Сталина — полководца, стратега, лидера антигитлеровской коалиции. С другой стороны, ни о чем неприятном для репутации Вождя в них уже, как правило, не упоминалось. Даже о тех же частных промахах его военного руководства. Тем более о его общей ответственности за то, какой тяжелой ценой досталась нам победа. Ни о том, что в 1937—1938 годах он обезглавил нашу армию, уничтожив цвет ее командования, ни о договорах с Германией в августе и сентябре 1939 года, одним из результатов которых была предоставленная Гитлеру возможность сосредоточить свои дивизии непосредственно на наших границах, ни о многом, многом другом жестоком и страшном, что связано с этим именем в нашей истории. На все это был наложен негласный запрет.

Тем самым достигался желаемый оптический эффект: ответ войны, святой и правой, ложась на мундир генералиссимуса, заодно как бы освещал и его политическую биографию в целом. Все, что сделал он и до, и после войны, получало в этом свете если не заведомое нравственное оправдание, то по крайней мере значение государственной необходимости, дальновидности и правоты. Что, в свою очередь, распространялось и на общую характеристику того этапа общественного развития, который теперь уже не разрешалось называть «периодом культа личности» — о нем вновь заговорили почти в той же тональности, что и до 1956 года.

Вся эта идеологическая передвижка происходила исподволь и без большого шума, но и ее «малые приметы» не ускользали от вниматель-

ного взгляда современника, говорили ему о многом. И то, как с возрастающей быстротой стала опадать волна критики «культа», постепенно съезживаясь до одной-единственной ритуальной фразы, произносимой по большим праздникам в руководящем докладе, год от года все более невнятной. И то, как в статьях и книгах о посмертно реабилитированных «борцах за великое дело» стали однотипно усекаться печальные финалы их биографий, оставляя читателя в неведении, что же стало с героем потом и не здравствует ли он благополучно по сию пору. А потом и сами их имена, чтобы не будить дурных воспоминаний, вновь начали мало-помалу исчезать с печатных страниц...

В этих обстоятельствах новое и столь решительное обращение к теме преступлений сталинского режима имело вполне определенный и ясный политический смысл: это было слово открытого и резкого протеста. И возможно оно было тогда (если вообще возможно) в одном-единственном органе нашей печати.

О «Новом мире» Твардовского, о поистине историческом значении этого журнала в духовном развитии нашего общества, о том, за что и против чего он боролся и кто и как, в свою очередь, боролся с ним, наконец, о том, какой итог имела эта борьба не только для журнала и его редактора, но и для общества в целом, будут еще, надо думать, написаны тома. Но и комментарий к поэме «По праву памяти» невозможен без того, чтобы не сказать о данном предмете хотя бы нескольких, самых кратких слов.

Впрочем, в свете сказанного выше о контрасте двух периодов (оборванного «хрущевского» и начинавшегося тогда «брежневского»), в пределах которых совершалась история журнала Твардовского, суть дела можно определить действительно очень кратко. В самом деле, что такое «Новый мир», если рассматривать его под тем углом зрения, который задан предыдущим анализом?

До 1964 г о д а — это журнал, который довольно быстро сформировался в ведущий орган демократического обновления советского общества, с наибольшей последовательностью, яркостью и полнотой воплощавший в себе курс XX съезда партии. Последовательностью — конечно, не в смысле какой-то особой выдержанности и глубины теоретического осознания процессов развития нашего общества: таковой наша общественная мысль не располагает, увы, и по сию пору. Но по крайней мере в трех других важнейших отношениях. Во-первых, в критическом изображении и х у д о ж е с т в е н н о м осмыслении пройденного страной пути. Ни один другой орган печати не пошел в этом отношении так далеко, не сказал так много горькой, жестокой, но необходимой правды о сталинской эпохе, как это сделал журнал Твардовского. Во-вторых, в распространении такого же критически трезвого подхода к действительности и на современность (в отличие от той рептильной словесности, что готова порой обличать мертвого тирана, но обращается

в сладкоголосую сирену у порога текущего дня). В-третьих, в бескомпромиссной борьбе с тогдашними силами торможения, весьма влиятельными и готовившимися к реваншу, — борьба с ними мало-помалу составила основное содержание критического раздела журнала.

А после 1964 года, когда обстановка радикально изменилась, критика «культа личности и его последствий» была свернута и все остальные наши журналы и газеты — кто быстрее и радостнее, кто медленнее и с меньшим энтузиазмом — отразили и закрепили совершившийся поворот, «Новый мир» Твардовского еще свыше пяти лет оставался единственным советским журналом, сохранившим полную верность прежнему курсу. Свыше пяти лет, преодолевая все более упорное сопротивление и со всех сторон осыпаемый ударами, он боролся против бюрократической реставрации, за углубление и развитие идей XX съезда, демократического сознания общества. За правду. И пал в этой неравной борьбе, не отступив ни на шаг.

В свое время в зарубежной печати немало ломали голову над тем, как определить общественную позицию Твардовского, поэта и редактора: «партийная» она или «оппозиционная»? Партийная? Почему же одну его поэму не печатают 9 лет, другую — 18, а руководимый им журнал сначала подвергают многолетней осаде и массированному обстрелу, а затем захватывают по всем правилам военного искусства (с обманными маневрами, высадкой десанта и пр.)? Оппозиционная? Почему же тогда именно его, Твардовского, стихи о Ленине наши дети заучивают в школе? Почему и в последней поэме это имя остается для автора таким же высоким, как и за 10, и за 20, и за 30 лет до нее?

Всегда, казалось, рядом был,
Свою земную сдавший смену,
Тот, кто оваций не любил,
По крайней мере знал им цену.
Чей образ вечным и живым
Мир уберег за гранью брэнной...

Это ли оппозиция?

Кажется, ни к какому общеубедительному решению так и не пришли. И, пожалуй, понятно, почему: из-за неправильности самой постановки вопроса. Неправильности чисто логической, состоящей в исходном убеждении, что уж или партийность, или оппозиционность — вещи несовместимо-противоположные. Между тем следовало бы для начала спросить себя: партийность — какая? Та, что выражена, например, в стихах, предвещающих настоящую статью:

Ясна задача, дело свято, —
С тем — к высшей цели прямиком.
Предай в пути родного брата... и т. д.?

Это ведь даже не поэтическая гипербола, а самая что ни есть будничная реальность — та партийность, что заставляла человека передоверять свою мысль и совесть некоей высшей, верховной воле, изначально и навсегда непогрешимой, и во имя заведомо ясной, необсуждаемой цели требовала от него восторженной слепоты, радостного повиновения этой воле. Или же, напротив, та, что полагает за норму совершенно иное, демократическое сознание и поведение, суверенную и ответственную человеческую личность, которая во имя общего блага живет и действует по собственному разумению,

Страну от края и до края,
Судьбу свою, судьбу детей
Не божеству уже вверяя,
А только собственной своей
Хозяйской мудрости?

Точно так же: оппозиционность — чему? Тому курсу, что прочерчен был XX съездом и открывал перед нашим обществом перспективу демократического развития? Или же, наоборот, политике, противоречащей этому курсу, закрывающей означенную перспективу? Толковать о «партийности» и «оппозиционности», не поставив перед собой подобных вопросов, — заведомо пустое дело. Как Маяковский спрашивал фининспектора:

А что если я народа водитель
И одновременно — народный слуга? —

так и тут можно бы спросить: а что если позиция Твардовского потому-то и шла вразрез с идеологической линией Л. И. Брежнева и М. А. Суслова, что была истинно партийной — в духе XX съезда, в антикультовом, антибюрократическом, демократическом, народном смысле?

В самом деле, из того, что в зарубежной критике вопрос об оппозиционности Твардовского и его журнала ставился неправильно, отечественная же избегала его вообще¹, вовсе не следует, будто такого вопроса просто не существует. Он вполне реален и заслуживает спокойного, серьезного рассмотрения (а сегодня и т р е б у е т его — в связи с задачей нашей нынешней перестройки).

Знаменательно, что разговоры о «Новом мире» как журнале «оппозиционном» возникли не ранее 1965—1966 гг., хотя его эстетическая и

¹ Не всегда, конечно, а лишь после того, как отпала — за устранением объекта — необходимость в погромных выступлениях типа: «Против чего выступает «Новый мир»?» («Огонек», 1969, № 30) или «Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.» («Социалистическая индустрия», 1969, 31 июля).

общественно-политическая линия и лидирующее положение в литературе вполне определились еще лет за пять до этого.

Как журнал с направлением «Новый мир» явился детищем эпохи XX съезда. Прежде этого времени, с начала 30-х годов, подобных изданий у нас не было, да и быть не могло. А те, что все же как-то появлялись, не выживали¹. XX съезд партии и в этом отношении имел поистине поворотное значение. Под его освобождающим воздействием в обстановке, когда страна встала перед необходимостью заново осмыслить свой путь, его итоги и перспективы, не могли не образоваться различные, во многом взаимоотталкивающиеся течения общественной мысли. Это формирующееся демократическое многоголосие, по сути дела, означало, что общество, до тех пор как бы поглощенное государством, передавшее ему свои функции, заново обретало свой духовный суверенитет, возвращалось к полнокровной жизни. Появление изданий с направлением — а таковым стал не только «Новый мир», куда с июля 1958 года вернулся Твардовский, но и — с разной мерой отчетливости — «Юность» при В. П. Катаеве (1955—1962) и отчасти «Литературная газета» при С. С. Смирнове (1959—1960), а на противоположном идейном полюсе «Октябрь» В. А. Кочетова, газета «Литература и жизнь» (1958—1962) и некоторые другие издания — было наглядным проявлением этого позитивного общественного процесса.

Контраст идейно-эстетических позиций, находивших свое выражение на страницах как названных выше, так и многих других журналов и газет, был в ряде случаев очень большим и вовсе не сводился к тому естественному разнообразию индивидуальных точек зрения, что выражается поговоркой: «Сколько людей, столько и мнений». Не объяснялся он вопреки распространенному обывательскому представлению и пресловутой литературской «групповщиной». Нет, это были в значительной мере принципиальные и устойчивые разногласия весьма различных социально-политических тенденций, между которыми шла нешуточная борьба. И тем не менее, отнюдь не впадая в идиллическое прекрасное, можно утверждать, что ни одна из таких тенденций не была в то время оппозиционной. Политической оппозиции в стране не было, поскольку для нее не было и почвы: возможность открытого самовыражения практически для каждого течения мысли, способного рассчитывать

¹ В 30-е годы такой белой вороной оказался журнал «Литературный критик», мужественно и безнадежно боровшийся против иллюстративности в литературе (закрыт в 1940 г.). Другим таким исключением из правила становился уже на пороге нового времени, в 1952—1954 гг., «Новый мир» в пору первого редакторства Твардовского, но так же оборван был в своем становлении. Прерывистую эстетическую эстафету, идущую от «Красной нови» А. К. Воронского (1921—1927) через «Литкритика» к «Новому миру» Твардовского наше литературоведение, бог даст, когда-нибудь возьмется проследить.

на сколько-нибудь широкую общественную поддержку, по сути дела, исключала вероятность ее появления.

Другое дело — то положение вещей, которое сложилось во второй половине 60-х годов, когда линия XX—XXII съездов партии оказалась свернутой, а вызванное ею к жизни движение общественной мысли — негодным. Как река, перегороженная запрудой, стремится ее прорвать, так демократическое движение, насильственно заглушаемое, останавливаемое в своем естественном развитии, должно было неизбежно превратиться в оппозицию. И превратилось.

Разумеется, не все. Консервативное крыло того же движения, и прежде пытавшееся сузить фронт и умерить остроту критики Сталина, а преобразования в созданной им системе руководства свести к минимуму, могло только радоваться происшедшим переменам. Ведь именно их умонастроения приобрели теперь силу официальной идеологической платформы (хотя из тактических соображений последняя считала полезным изображать себя в качестве «центристской» и порой даже как бы слегка отмежевываться от сталинистских крайностей). Не превратилось в оппозицию и конформистское «молчаливое большинство», в силу своей идейной бесхребетности и нравственной нетребовательности готовое ужиться с любой политикой, если в житейском плане она позволяет так или иначе к себе приспособиться. Но наиболее живая, социально активная и ответственная часть интеллигенции и общества в целом, та, что не просто поддерживала курс XX съезда на демократические преобразования в общественной структуре, но, перефразируя Маяковского, могла бы сказать: «моя демократизация», жила ею, связывала с нею свои надежды и социалистические идеалы, желала видеть ее возможно более полной, последовательной, радикальной и, как могла, способствовала этому, — данная часть общества в изменившихся условиях была, по сути дела, обречена на оппозиционность, для нее просто не было иного выбора.

Превращение части — и, подчеркнем, лучшей части — тогдашнего демократического движения в оппозиционное, а энергии положительного социального преобразования в энергию протеста — печальная и драматическая страница нашей истории. Для немалого числа людей это обернулось утратой веры в социализм; судьбы большинства из тех, кого невозможность прямо и открыто высказать свое несогласие с новой официальной линией толкнула к нелегальным формам политического самовыражения, оказались изломанными. Одним пришлось проститься с Родиной, другим нести наказание «по всей строгости закона». Речь не о том, чтобы задним числом освободить их от ответственности за любые их конкретные действия, хотя бы и вызывавшиеся условиями и логикой борьбы: это в каждом отдельном случае индивидуальная моральная и правовая проблема. Но должна быть со всей определенностью признана и ответственность другой стороны. Тех, кто обратил этот закон против демократии, в наших условиях — социалистической. Тех, кто тем са-

мым явился источником, а в правовом и моральном плане — виновником возникновения политической оппозиции в нашей стране.

Скажут, пожалуй: кто разжег огонь, тот его и погасил; кто породил оппозицию (как неизбежную издержку смены политического курса), тот же довольно быстро (и вместе с тем бескровно!) ее устранил.

Это верно, как и то, что в проведении указанной операции было проявлено немало энергии и изобретательности. Но, во-первых, эти достоинства не потребовались бы, если бы люди, столь искусно и методично искоренявшие «инакомыслие», сами же его перед тем и не создали. А во-вторых — и это главное, — победа, о которой идет речь, в недалекой исторической перспективе оказалась для страны такой дорогостоящей, что ее можно считать равнозначной самому тяжелому поражению.

Цель была полностью достигнута. Интеллигенция перестала ершиться и доставлять неприятности: говорить не то, что от нее желали услышать, писать какие-то коллективные письма, протестовать. Воцарилось желанное молчание. Не полное и не буквальное, конечно: выходили романы и фильмы, пресса более или менее успешно создавала впечатление разнообразия и борьбы критических мнений, обсуждения животрепещущих проблем. Но борьба эта шла в предустановленных рамках и с предрешенным исходом; обсуждение проблем — с непреложным условием не затрагивать реальных корней зла; игра, словоговорение, смесь обмана с самообманом. И вот полтора десятилетия такой жизни — и тот поистине страшный результат, к которому мы пришли. Экономический, о котором сегодня уже достаточно сказано, и едва ли не более тяжкий нравственный и духовный: его нам еще только предстоит как следует осознать. Общество, как бы лишившееся интеллигенции, если понимать под нею не просто людей определенных профессий, но то, чем она всегда была в России со времен Фонвизина и Радищева, — мозг и совесть нации. Общество, в котором господствующим психологическим типом стал человек равнодушный, ни в чем по-настоящему не заинтересованный, легко произносящий любые слова, но ничего не переживающий слишком глубоко, разучившийся стыдиться и презирать, работающий без удовольствия и вполсилы; человек, в котором вместе с катастрофическим выветриванием гражданских чувств даже и сугубо личные как-то обесцветились и усохли. Общество, как в своем спасении нуждающееся в начавшейся перестройке, но до сих пор еще всерьез не доказавшее своей способности к ней...

Вина политики, спровоцировавшей конфликт демократического движения с властью, была, таким образом, многократно усугублена тем способом разрешения этого конфликта, какой был ею избран.

Все это имело самое прямое отношение и к «Новому миру», и к интересующей нас поэме Твардовского.

Если оставаться в пределах того же понятийного ряда, то как журнал, все более явно и сознательно противостоявший официальной идеологической линии (по мере того как и она, в свою очередь, все более

прояснялась и обнажалась), «Новый мир» второй половины 60-х годов — это объективно журнал оппозиционный. И этому совершенно не мешает то обстоятельство, что и сам Твардовский считал свой журнал сугубо партийным, и он действительно оставался таковым — партийным в духе XX съезда, в смысле независимого, но последовательного выражения демократической тенденции в социализме. Ибо в изменившихся условиях т а к а я партийность была уже решительно не ко двору; верность ей отзывалась неповиновением и протестом.

Главный орган демократической оппозиции 60-х годов, «Новый мир» в этом отношении — совершенно уникальное явление в советской журналистике¹. Своеобразие его в данном качестве состояло в том, что это был, во-первых, журнал легальный и притом заявлявший свою программу ясно и открыто. (Как это ни парадоксально звучит, в каком-то смысле он был даже более легален, чем издания, выражавшие господствующую систему взглядов и вынужденные сплошь и рядом избегать называть вещи своими именами, маскируя происшедшую смену курса, дела вид, будто никакой реставрации отвергнутых народом порядков не происходит.) Во-вторых, это был орган оппозиции с о ц и а л и с т и ч е с к о й, оппозиции, исходящей из идеи социализма, способного к демократизации, открытого демократическому саморазвитию. Это была позиция внутренне прочная. Конечно, ее можно было критиковать с самых различных точек зрения, и ни от какой такой критики отмахиваться негоже, однако запас ее прочности оказался по крайней мере настолько велик, что и сегодня, двадцать лет спустя, в своих надеждах на перестройку мы ведь живем именно этой идеей, никакой другой.

Оппозиционный журнал в советской истории? Как к этому относиться? Прежде всего как к факту, который, как всякий исторический факт, надо признать и понять. Понять в его происхождении и в его конкретном социальном содержании. А затем уже и оценить его сообразно его реальному историческому значению, его месту по отношению к общей перспективе человеческого прогресса. Применительно к данному случаю наша оценка окажется в прямой зависимости от того, как понимаем мы ход развития советского общества на протяжении последних тридцати лет. Признаем ли мы благом для страны, для судеб народа и социализма тот крутой поворот, который был совершен XX съездом партии? Признаем ли мы далее, что последующее развитие нашего общества не было равномерным восхождением со ступени на ступень? Не только в смысле наличия каких-то частных заминок и противоречий, но и в смысле движения — на определенном этапе — по принципу шаг вперед, два шага назад, поворота вспять, а затем длительного разлагающего застоя? Если признаем — а не признать этого сегодня невозможно, — тогда с учетом всего вышесказанного на предложенный вопрос есть

¹ Хотя отдельные элементы оппозиционности можно было еще некоторое время наблюдать и в поведении трех-четырех других наших журналов.

только один ответ: он будет безусловно в пользу Твардовского и его журнала.

Бывает момент, когда общественный деятель, если он настоящий гражданин и патриот, вынужден идти против течения, против большинства. И что же! — в своем одиночестве он больше весит на весах истории, чем целая толпа его оппонентов и противников. Именно так обстояло дело с Твардовским-редактором, выдающимся общественным деятелем нашего времени. Когда-то Ленин прекрасно сказал об издателе «Колокола», который во время восстания в Польше твердо встал за восставших, разойдясь тем самым даже с большинством своих вчерашних союзников: «Герцен спас честь русской демократии»¹. Эти слова применимы и к человеку, который в совершенно иных исторических обстоятельствах, но примерно таким же образом спас честь нашей интеллигенции, русской демократии советских 60-х годов.

Добавим в заключение: если «Новый мир» Твардовского — славная страница в истории советской журналистики, то последние пять лет его существования — лучшее время этого журнала, его крестный, но и его звездный час. Никогда его значение не было так велико, и прежде всего нравственно-выпрямляющее значение. Дело было не в том, что журнал печатал лишь выдающиеся произведения, хотя большая часть того, что было лучшего в литературе тех лет, пришло к читателю через его страницы. Дело было в неподкупности, в верности правде, в верности себе. Своим примером журнал как бы говорил: значит, можно не изменять своему человеческому достоинству, можно держаться! В этом смысле какой-нибудь рассказ или рецензия, напечатанные в «Новом мире» и уже потому прочитанные сочувственно и жадно, нередко значили больше многих куда более фундаментальных публикаций прежних или последующих времен. И чем более одиноким в своей борьбе оставался этот журнал, чем плотнее сгущались над ним тучи, тем сильнее становилось его общественное воздействие и авторитет.

Нет ли тут противоречия со сказанным выше? Мы с похвалой говорили о посталейкинском периоде как о времени, когда в стране было демократическое разномыслие, но не было политической оппозиции, и с осуждением о тех, кто сменой курса вызвал ее появление. И мы же хвалим «Новый мир» как раз за мужество противостояния, то есть за оппозиционность. Именно так, но это говорит лишь о том, что истина конкретна...

Впрочем, посчитав себя не вправе уклониться от участия в споре «партийность или оппозиционность?» и воспользовавшись для прояснения своей мысли соответствующей терминологией, мы вовсе не считаем ее наиболее удачной. «Оппозиционность» — слово слишком общее и потому неточное. Вернее, на наш взгляд, говорить о том, что вторая поло-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 260.

вина 60-х годов — это время острой борьбы двух тенденций в социализме: бюрократически-консервативной и демократической. И в той же мере, в какой инструментом бюрократической реставрации явилась широкомасштабная кампания по организации общественного беспамятства, в той же мере оружием сопротивления ей стала п а м я т ь. А главным органом этой не поддающейся насильственному усыплению или урезыванию исторической памяти — журнал Твардовского «Новый мир», для которого и предназначалась его последняя поэма.

Выразительно и твердо названная «По праву памяти», поэма родилась как акт сопротивления, как продолжение той борьбы, которую ее автор и руководимый им журнал вели против наступающей реставраторской тенденции. Не в Сталине как таковом тут было дело и не в желании что-то о нем «досказать» ради полноты картины, а в тех, кто в своекорыстных интересах готов был снова кадить тому же «богу». К ним и обращены гневные слова поэта:

А вы, что ныне норовите
Вернуть былую благодать...

Читательская ситуация поэмы была своеобразна: в том, 1969 году, когда она была закончена и сдана в печать, она говорила о том, что все еще хорошо знали

(А к слову — о непосвященных:
Где взять их? Все посвящены...),

но о чем уже несколько лет упорно молчали. И всем своим содержанием поэма взрывала это молчание и била по его организаторам.

Была прежде всего тем, что она н а п о м и н а л а.

В том, что говорилось здесь о Сталине, был, собственно, всего один, хотя и чрезвычайно важный аспект, которого до Твардовского никто другой сколько-нибудь значимо не касался: многосторонне повернутая тема отца и сына, тема сыновней ответственности за отца — истинного, по крови, и нареченного, «отца народов». Но, развивая свою основную мысль, поэт по ходу ее развертывания как бы развертывал и некий свиток, в который вписаны злодеяния, связанные с именем «всеобщего отца». Судьба крестьянства, переломленная «Великим переломом». И судьбы целых народов, «брошенных в изгнание». И тех, кому просчеты Главнокомандующего пришлось оплатить вдвойне: «Из плена в плен — под гром победы С клеймом проследовать двойным». И бесчисленность всяких иных загубленных и изломанных человеческих жизней, когда

...за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командарма иль попа...

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей,
И все, казалось, не хватало
Стране клейменных сыновей.

Все это звучало двойным обвинением: и тому, кто творил эти злодеяния, и тем, кто теперь старался вытравить память о них. И уже прямо и только по ним, по этим ревнителям забвения и молчания, была вся, от первой до последней строки, заключительная часть триптиха Твардовского — «О памяти».

Она богата реалиями момента. И то, что «забыть велят». И что вместе с тем «велят б е з м о л в н о»: никогда прямо и вслух, все лишь языком жестов или за теми дверями кабинетов, которые, как описано в другой поэме того же автора,

Все плотны, заглушены
Способом особым,
Выступают из стены
Вертикальным гробом.

И ссылка на «китайский образец», многозначительная для времени, когда бушевала «культурная революция» в Китае — тамошний вариант нашего 37-го...

Здесь в каждой строфе — голос редактора «Нового мира»; здесь поэтический концентрат тех споров, которые журнал вел на своих страницах, а его редактор — в стенах упомянутых кабинетов, отстаивая право и обязанность литературы говорить правду. И как гремит этот голос! Не ораторским красноречием, но твердостью и победительностью правды:

Нет, все былые недомолвки
Домолвить ныне долг велит.
Пытливой дочке-комсомолке
Поди сошлись на свой главлит...

И кто сказал, что взрослым людям
Страниц иных нельзя прочесть?
Иль нашей доблести убудет
И на миру померкнет честь?

Гневный сарказм поэта не оставляет камня на камне от тех ханжеских доводов (мол, «о минувшем вслух поведав, мы лишь порадуем врага» и т. п.), какими обычно пользовались тогдашние «молчальники» (за неимением никаких других их порой повторяют и нынешние; впрочем, это в значительной части те же самые люди). И — вывод:

Одна неправда нам в убыток
И только правда ко двору!

И — общий диагноз самим «молчалиникам», поразительная точность которого подтвердится всем нашим последующим развитием, вернее — застоём:

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу...

Можно себе представить, какой грозой грянула бы эта поэма, будь она напечатана в 1969 году! Когда сила удара была бы умножена не только всенародным авторитетом первого поэта страны и одного из тех ее подлинно великих людей, для которых известно было единственное начальство — собственная совесть, но и восприимчивостью читателя, ждавшего-заждавшегося честного, прямого слова о том, что его волновало и возмущало. Можно себе представить, как встряхнула бы эта маленькая поэма человеческие души, уже начавшие привыкать к расслабляющей мысли о вседозволенности власть имущих и о собственном бессилии, уже начавшие погружаться в то нравственное болото, из которого мы сейчас пытаемся тащить себя за волосы. И как затруднила бы она задачу «молчалиников», шаг за шагом сталкивавших нас в это болото.

Но потому-то они и не могли этого допустить.

Передо мной несколько, увы, разрозненных листков, относящихся к весне и лету 1969 года, — рапортики о ходе подготовки текущих номеров «Нового мира». Ежедневно с большой тщательностью составлявшиеся заведующей редакцией журнала Н. П. Бианки, они раздавались всем работникам редакции, в числе которых был тогда и я. Вместе с проектами содержания номеров (а их во многих случаях бывало два и больше, поскольку вещи, задержанные главлитом, приходилось чем-то заменять, порой многократно пересоставляя номера) эти рапортики позволяют документально проследить журнальную историю поэмы.

23 апреля 1969 г. Поэма получена в редакции и в тот же день сдана в типографию для уже набранного пятого номера (рапортика от 24 апреля). А к 30 апреля редакцией получена уже не только первая, но и вторая верстка поэмы¹. Однако разрешения главлита нет (как, впрочем, нет и отказа, тем более мотивированного, — ситуация нередкая в тогдашней практике журнала). Чтобы не держать номер, редколлегия переносит поэму в № 6. Та же картина: недели, месяцы — разрешения нет. Наконец в рапортичке от 8 июля: «Стихи Твардовского заменяются стихами Злотникова, Айбека и стихами африканских поэтов». Поэма перемещена в № 8 — тот же результат. Твардовский борется, настаивает перед секретариатом правления Союза писателей СССР на обсуждении

¹ Пользуясь случаем, чтобы отметить неточность подписи под фотографией, сопровождавшей публикацию поэмы в «Новом мире» (1987, № 3, с. 191): «Первая страница рукописи поэмы А. Т. Твардовского «По праву памяти», подготовленной к печати в 1970 году (?) в нашем журнале».

поэмы в писательской среде — слова его уходят как в вату. Тем временем поэма начинает ходить по рукам, ее переписывают; наконец, без ведома автора печатают за рубежом. Это будет использовано как средство морального давления на непокладистого редактора, но не ускорит появления поэмы в советской печати.

И вот публикация через 18 лет... Современный критик (поющий славу перестройке, времени, «когда с высоких партийных трибун было признано, что краугольные камни нашей социалистической демократии в прошлом подверглись заметной коррозии») так объясняет причину задержки: «Особый драматизм ситуации, возникшей в связи с замыслом поэмы «По праву памяти»... заключался еще и в том, что общественное сознание в то время не было готово к восприятию такой вещи. Вот почему поэма увидела свет только спустя двадцать лет после того, как она была завершена поэтом... Теперь-то нетрудно себе представить, как болезненно ощущал атмосферу своего времени А. Твардовский, оказавшись в положении поэта-«забегника», как говорили о себе поэты-футуристы»¹. Вот в чем, оказывается, было дело. В неготовности тогдашнего общественного сознания; в том, что истинному таланту свойственно опережать свое время, тогда как все прочие люди — «от осознания этой коррозии мы были, к сожалению, чрезвычайно далеки». А теперь мы и сами естественным порядком дозрели, да и с высоких трибун нам кое-что разъяснено, — вот тут-то (только теперь!) поэме Твардовского пришла ее настоящая пора. Несколько грустно, конечно, что самому поэту не довелось... и т. д., но виноватых тут нет, как не было их и 20, и 10 лет назад...

Что сказать по поводу подобных печально-успокоительных объяснений (весьма, конечно, характерных в нынешних условиях для определенной части «старых кадров»)? В свете вышеизложенного едва ли нужно что-нибудь говорить. Заметим только, что «старое, но грозное оружие», видно, и сегодня еще слишком колет и жжется, если приходится так с ним обращаться — собственной безопасности ради.

Главное, однако, не в том, как встретили поэму «По праву памяти» (и ряд других вчера еще невозможных публикаций) упомянутые «старые кадры». Их заботы понятны и не составляют вопроса. Настоящий вопрос вот какой: вам-то, «из другого поколения», нынешней молодежи, вещь эта близка, нужна? Или для вас это уже чужая история, «страницы далекого прошлого», и между ними и вашей собственной жизнью вы не устанавливаете существенной связи?

Все вышесказанное — объяснение поэмы Твардовского как произведения наших 60-х годов. Словно за стеклянной стеной оставалась эта эпоха: близко — и не дотянуться рукой, и не долетало оттуда никаких

¹ Валерий Дементьев. Память сердца. «Литературная Россия», 1987, 24 апреля.

голосов. И вдруг — один, другой такой голос, прорвавшие глухую тишину. Чтобы воспринять их, нужно по-иному настроить отвыкший слух; чтобы вступить с ними в заочный диалог, нужно вспомнить и понять их забытое, закрытое время. Но важно ощутить и потребность в таком диалоге. Ведь прошлое ценно для нас не столько само по себе, сколько как концентрация опыта, необходимого сегодня и завтра. Так вот, где «формула» такой необходимости по отношению к поэме Твардовского о Сталине? Может ли эта вещь, написанная давно, а главное — в специфических обстоятельствах, уже отмененных ходом событий, как-то крупно послужить нашему нынешнему переломному дню?

Закончим пока что этим вопросом.

Постскриптум.

Помещенная выше статья опубликована в № 8 журнала «Октябрь» за 1987 г. А в № 12 того же журнала как бы в дополнение к ней и в ответ на помещенные там же письма читателей появилась заметка «**И нам уроки мужества даны...**» (об истории ее публикации см. ниже). В ней кратко воспроизведены два эпизода из числа наиболее драматических моментов борьбы журнала Твардовского против превосходящих сил сталинистской реакции. О первом из них (лето 1969 г.) — массивной атаке на «Новый мир» и его редактора, начатой выступлением одиннадцати литераторов в тогдашнем «Огоньке», — за последнее время не раз упоминалось в нашей печати. Второй эпизод — момент окончательного разгрома журнала (февраль 1970 г.) — имеет смысл напомнить.

Вот, без каких-либо подробностей и комментариев, краткая хроника гражданского поведения главного редактора «Нового мира», как запечатлелась она в почти столь же краткой записи основных событий февраля, сделанной автором этих строк по свежей памяти, в начале марта 70-го года.

2 февраля, понедельник. Твардовский вызван в секретариат Союза писателей СССР, где перед ним выдвинуто требование осудить зарубежных публикаторов его поэмы «По праву памяти». Он в ответ указал на то, что сначала нужно опубликовать поэму у нас, иначе для полемики нет оснований. Повторил свое прежнее предложение устроить обсуждение рукописи поэмы в Союзе писателей. Ни до чего не договорились.

3 февраля, вторник. Твардовский вновь вызван в секретариат Союза писателей и извещен о том, что состоялось заседание бюро секретариата, которое приняло решение: 1) назначить первым заместителем главного редактора журнала «Новый мир» Д. Г. Большова; 2) создать комиссию в составе членов бюро секретариата, а также Большова и Твардовского, которой поручить к 9 февраля представить на утверждение бюро секретариата предложения по составу редколлегии и редакции «Нового мира». Твардовский на это устно заявил, что рассматривает решение,

принятое без его согласия и участия, как прямое побуждение его к отставке.

4 февраля, среда. Письмо Твардовского в секретариат Союза писателей с протестом против решения бюро и с сообщением, что будет обжаловать его перед директивными органами. В тот же день — короткое, всего из двух фраз, письмо в «Литературную газету», осуждающее публикации поэмы в ряде западноевропейских изданий без ведома автора, «в неполном или искаженном виде» и под произвольным заглавием «Над прахом Сталина», извращающим смысл произведения. Шаг вынужденный, но в этих условиях необходимый, выбивающий из рук противников журнала возможность спекулировать на зарубежных публикациях поэмы (помещено в части тиража номера от 11 февраля; остальные подписчики прочли письмо в следующем номере, за 18 февраля).

5 февраля, четверг. На заявление Твардовского бюро ответило тем, что прислало в журнал выписку из своего решения, формально закрепляя назначение Большова и создание комиссии. Твардовский же обратился в ЦК КПСС с протестом против нарушения секретариатом Союза писателей его прав главного редактора и против назначения его первым заместителем человека, которого он даже никогда не видел. Центральный пункт письма Твардовского — постановка вопроса о доверии к нему как к редактору журнала.

В тот же день — приглашение на заседание созданной секретариатом комиссии. Твардовский отказался принимать участие в ее работе. Вечером он был поставлен в известность о выработанных комиссией предложениях: из состава редколлегии выводятся: А. И. Кондратович, В. Я. Лакшин, И. И. Виноградов, А. М. Марьямов, И. А. Сац; взамен вводятся: Д. Г. Большов (первый заместитель главного редактора), О. П. Смирнов (заместитель главного редактора), В. А. Косолапов, С. С. Наровчатов, А. Е. Рекемчук, А. И. Овчаренко. Твардовский ответил, что написал в ЦК, ждет ответа и ранее этого не уйдет, а назначенных вопреки его воле членов редколлегии не пустит на порог редакции.

6—8 февраля. Письмо Твардовского Л. И. Брежневу с прямой политической оценкой отказа в публикации поэмы и совершающегося разгрома журнала как наступления консервативных сил, чреватого серьезными последствиями для нашего общества. Письмо было тут же доставлено адресату.

9 февраля, понедельник. Бюро секретариата Союза писателей без какого-либо обсуждения и оценки деятельности журнала (к чему тщетно призывал Твардовский) утвердило вышеприведенное предложение комиссии. Твардовский вновь заявил, что не признает принятого решения и продолжает ждать ответа на свое обращение к руководству партии.

10 февраля, вторник. Срочно сданный в уже подписанный к печати номер «Литературной газеты» текст сообщения о решении бюро секретариата дважды менялся, уже в тираже. Ввиду отказа С. С. Наровчатова

войти в редколлегию в ней соответственно оставлен был А. М. Марьямов. Включено первоначально отсутствовавшее упоминание о том, что в заседании участвовал Твардовский (что, в свою очередь, потребовало назвать и других участников заседания).

11 февраля, среда. В «Литературной газете», под рубрикой «Хроника», напечатано следующее сообщение: «Состоялось заседание бюро секретариата правления Союза писателей СССР, в котором приняли участие К. А. Федин, С. А. Баруздин, К. В. Воронков, С. В. Михалков, В. М. Озеров, Л. С. Соболев, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов, А. Б. Чаковский, К. Н. Яшен. Бюро утвердило первым заместителем главного редактора и членом редколлегии журнала «Новый мир» Д. Г. Большова, заместителем главного редактора и членом редколлегии — О. П. Смирнова. Членами редколлегии утверждены также В. А. Косолапов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук. От обязанностей членов редколлегии журнала «Новый мир» освобождены И. И. Виноградов, А. И. Кондратович, В. Я. Лакшин, И. А. Сац».

12 февраля, четверг. Твардовский подал в секретариат Союза писателей заявление об уходе с поста главного редактора, сформулированное как протест против разгрома редколлегии. В тот же день ему сообщили, что его отставка будет принята. Однако ни на следующий день, ни в течение всей следующей недели она не была ни принята, ни отклонена. Твардовский каждый день приезжал в редакцию, проводил весь день в своем кабинете — молчание. Тем временем 16 февраля подали в секретариат Союза писателей свои заявления об уходе члены редколлегии Е. Я. Дорош и А. М. Марьямов. Несколько позднее такое же заявление подал ответственный секретарь журнала М. Н. Хитров. В ответ на его запрос, кто будет подписывать в печать февральскую книжку «Нового мира», получено указание временно приостановить производственный процесс.

20 февраля, пятница. Так и не получив ответа на свое заявление (равно как и на обращения в ЦК и к Л. И. Брежневу), Твардовский заявил, что он уходит, обошел отделы, попрощался с каждым из сотрудников редакции. Замечу в скобках, что без ответов были оставлены и несколько известных мне коллективных обращений видных московских писателей на имя Л. И. Брежнева и Н. В. Подгорного с просьбой остановить разгром журнала.

25 февраля, среда. Стало известно, что отставка Твардовского принята и что главным редактором назначен В. А. Косолапов.

26 февраля, четверг. По поручению бюро секретариата С. А. Баруздин просил разрешения Твардовского представить ему новых членов редколлегии. Твардовский ответил, что ему с ними не о чем говорить и чтобы пришел один Косолапов, которому он и передаст дела.

2 марта, понедельник. Короткая, чисто символическая «передача дел», и Твардовский покидает «Новый мир» — навсегда.

В сентябре того же года его кладут в больницу. Через три недели диагноз: рак легкого; врачи фиксируют редкую стремительность процесса...

Называя вещи своими именами, смерть Твардовского — единственного из поэтов нашего времени, кого мы без преувеличения именуем н а р о д н ы м, и единственного же, после Горького, подлинного, не по должности, а по силе своего авторитета, руководителя литературы, собирателя литературных сил — на совести организаторов и исполнителей разгрома его журнала и предшествовавшей ему многолетней травли. И тех, и других, ибо и исполнитель несет полную меру моральной ответственности за то, что он исполняет, — истина простая, но весьма важная для нашего общего нравственного оздоровления. Не менее важно и другое: понять объективный исторический смысл того, что выражала собой борьба Твардовского, «линия «Нового мира»», понять ее как ту живую, перспективную тенденцию нашего общественного развития, которую тогда сумели прервать, а сегодня сама жизнь заставляет возродить и продолжить.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗРАЗИТЬ

(Из личного опыта)

Когда мы говорим, что с перестройкой у нас наступила эпоха гласности, то вне зависимости от того, насколько оправдан здесь совершенный вид глагола, в этом утверждении явственно просвечивает вполне определенная характеристика прежнего, «доперестроечного» состояния нашей прессы. Того состояния, когда печать и прочие средства массовой коммуникации есть, а гласности тем не менее нет. То есть, конечно, не вовсе нет, но она существует в столь ограниченном, урезанном, бюрократически зарегулированном виде, что называть это гласностью не поворачивался язык. Если мы хотим преодолеть это состояние, и преодолеть необратимо, нам нужно его прежде всего как следует осознать. Предлагаемые заметки имеют в виду эту общую цель, хотя конкретный предмет их значительно уже. Речь пойдет о праве на полемическое выступление в печати. Притом о праве обеспеченном, о таком, каким каждый человек при желании мог бы воспользоваться.

Важность такого права едва ли нуждается в пространных пояснениях и доказательствах. Если оно не реализуется, это означает не что иное, как полную бесконтрольность прессы — в смысле отсутствия читательского, общественного контроля над нею, возможность без всяких ограничений манипулировать общественным сознанием. А это, в свою очередь, один из решающих признаков недемократичности соответствующей социальной структуры.

Нельзя сказать, чтобы и до нынешних времен (за вычетом разве второй половины 40-х годов, когда споры в печати сошли почти на нет) нас

когда-либо вовсе лишали указанного права. Но и в том случае, когда публикуемый «отрицательный» отклик не был по тем или иным соображениям «организован» самой редакцией, между автором такого отклика и читателем всегда «как грозный часовой» стоял Редактор — лицо, которому вручено было право решать, какую критику и на какие произведения, явления или лица он может допустить, а на какие — нет. Ни о каких гарантиях тут не могло быть и речи.

Сейчас в данной области кое-что изменилось, однако решающие изменения пока еще впереди.

Позволю себе в этой связи предложить вниманию читателя некоторые эпизоды из собственной практики общения с печатью. Надеюсь, это не станет для него основанием заподозрить меня в нескромности или эгоцентризме. Просто свой опыт тем хорош, что тут уж знаешь все самолично и можешь отвечать за каждую деталь.

Первый эпизод — восьмилетней давности, из самых глубин «брежневского» двадцатилетия. Передо мной в машинописных копиях несколько писем: все они относятся к последним месяцам 1979 года. Это моя переписка с «Литературной газетой» по поводу одного тогдашнего интервью писателя Михаила Алексева, помещенного в этой газете (8 августа 1979 г.). Речь в нем шла, в частности, о Твардовском.

«Немало волнений, — рассказывал М. Алексеев, — пришлось пережить с повестью «Карюха». В «Новом мире» скоренько подготовили на нее рецензию. Рецензия была разгромная. На редколлегии, где решалась судьба рукописи, разгорелись страсти. Редактировал журнал в эти годы Александр Трифонович Твардовский. Он, конечно, не мог читать все материалы, поступающие в журнал, и очень доверял вкусу, профессиональному чутью своих сотрудников. Но тут дело было спорное. Его убедили прочесть «Карюху». Он взял ее с собой домой. А на другой день звонит в редакцию и просит прислать ему «Хлеб — имя существительное», в свое время в пух и прах разнесенный на страницах того же журнала. А потом потребовал и «Вишневы омуты». Далее рассказывалось о том, как «через несколько дней» после описанных событий, когда в Центральном доме литераторов «праздновали юбилей М. Исаковского», Александр Трифонович подошел к М. Алексеву и, побагровев, произнес «ошарашившую» его фразу: «Алексеев, мы были к Вам несправедливы».

Для всякого, кто сколько-нибудь следил за ходом литературно-общественной борьбы второй половины 60-х годов, это сообщение было едва ли не сенсационным. Твардовский, краснея, признает свою неправоту — перед кем? Перед тем, кто имел заслуженную репутацию одного из главных его литературных противников! Перед редактором «Москвы», которая вместе с кочетовским «Октябрем» из номера в номер объявляла злонамеренным «очернительством» критическое изображение и осмысление в «Новом мире» и неизжитого наследия сталинской эпохи, и явлений начинающегося застоя! Но стоило слегка присмотреться к

рассказанной М. Алексеевым мемуарной новелле, как бросались в глаза явные несообразности и противоречия.

Повесть «Карюха» была напечатана весной 1967 г. («Огонек» №№ 18—21). Юбилей же М. В. Исаковского пришелся на январь 1970-го. Таким образом, если упоминавшаяся рецензия была подготовлена даже не очень «скороенко», то и тогда между ее обсуждением и юбилейным вечером должны были пройти не «несколько дней», а два с половиной года. Срок более чем достаточный, чтобы Александр Трифонович — если бы он действительно убедился в том, что прежние но-вомирские оценки произведений М. Алексеева были несправедливыми, — смог высказать это убеждение не только устно, но и печатно (что, кстати сказать, он при своей принципиальности в таком случае непременно бы и сделал). Между тем ничего такого не было. Напротив, было нечто совсем другое, о чем в интервью не говорилось ни слова: был случай, когда «Новый мир» Твардовского вновь вернулся к оценке творчества М. Алексеева.

Летом 1969 года (через два года после «Карюхи») несколько печатных органов, включая «Советскую Россию» и даже далекую от литературы «Социалистическую индустрию», дали дружный залп по «Новому миру» — уже не по отдельным его выступлениям, а по журналу в целом. Кульминационным пунктом этой хорошо организованной кампании явилось письмо 11 литераторов под характерным «сигнализирующим» заглавием «Против чего выступает «Новый мир»?» («Огонек», 1969, № 30); под ним стояла и подпись М. Алексеева. В свою очередь, в заметке «От редакции» («Новый мир», 1969, № 7), написанной в ответ на это письмо при непосредственном участии Александра Трифоновича, он был назван в числе авторов, которые «подвергались весьма серьезной критике на страницах «Нового мира» за идейно-художественную невзыскательность, слабое знание жизни, дурной вкус, несамостоятельность письма», и заинтересованный читатель отсылался к двум рецензиям на его произведения: моей — на «Хлеб — имя существительное» («Новый мир», 1965, № 1), о которой упоминалось в интервью, и Натальи Ильиной — на «Повесть о моих друзьях-непоседах» («Новый мир», 1966, № 1), — к тем самым, которые якобы были опровергнуты прозревшим после «Карюхи» Твардовским.

Размышляя над тем, почему столь знаменательный и к тому же печатно засвидетельствованный факт так бесследно изгладился из памяти мемуариста, нельзя было не прийти к заключению, что причина тут та же, что и у несообразностей с хронологией. Ведь если между 1967 и 1970 годами прошло не «несколько дней» и если в промежутке между ними оказывается упомянутая характеристика («дурной вкус» и проч.), то все построение, включая попытку отделить Твардовского от «Нового мира», противопоставить его «своим сотрудникам», обращалось в карточный домик.

Ввиду историко-литературной да и общественно-политической важности темы я посчитал своей обязанностью поделиться этими соображениями с читателями «Литературной газеты» — в форме открытого письма М. Алексееву — и 16 августа 1979 г. отправил в газету такое письмо. Через какое-то время мне стало известно, что раньше меня или одновременно со мною свои протесты по тому же поводу и по тому же адресу послали М. И. Твардовская и некоторые из моих товарищей по «старому» «Новому миру» и что им уже приходят однотипные отписочные ответы. И хотя сам я — шла неделя за неделей — не получал в ответ ничего, становилось все более очевидным, что никаких публичных возражений М. Алексееву редакция допустить не хочет. Тогда мне пришла мысль по крайней мере зафиксировать это обстоятельство, засвидетельствовать его документально. И 26 сентября я вновь написал в «Литгазету», на имя ее главного редактора, короткое письмо с напоминанием об обязанности газеты отвечать на письма трудящихся. По-прежнему упорное (и все более красноречивое) молчание. Подождав несколько недель, написал снова. Воспроизвожу, в сокращении, это письмо.

**Главному редактору «Литературной газеты»
А. Б. Чаковскому**

Не получив ответа на два предыдущих моих письма в «Литературную газету» (...), я тем не менее решил, по прошествии еще двух месяцев, написать Вам в третий раз, чтобы сформулировать выводы, в которых утверждает меня, в частности, и сама односторонность нашей «переписки». Вот основной из них: выступление «Литературной газеты» и последующее ее поведение в данном вопросе представляет собой, если брать все это в целом, сознательный акт обмана, умышленное распространение заведомо ложных сведений об А. Т. Твардовском.

Действительно, можно ли посмотреть на дело иначе? В «Литературной газете» выступает литератор, чьи произведения рассматривались «Новым миром» Твардовского как характерный образец псевдонародности, безвкусицы, художественной неправды и который сам, в свою очередь, был известен как один из наиболее активных литературных противников Твардовского. Выступает с заявлением, что критика его сочинений в «Новом мире» объяснялась лишь тем, что главный редактор слишком поздно удосужился их прочитать и слишком доверился своим недобросовестным сотрудникам, а когда прочитал, то, побагровев от стыда, просил у него, Алексева, прощения. Твардовский опровергает новомирскую критику, и не в каком-нибудь частном пункте, а в том, что считалось выражением принципиальной линии журнала! Это ли не сенсация!

Дальше события развиваются следующим образом. Газета получает целую пачку писем, из которых явствует, что в рассказанной М. Алексеевым истории нет ни слова правды. Когда я писал ему свое открытое

письмо, я (...) все-таки допускал, что в обман этот могли быть вкраплены, пусть в искаженном, перетолкованном виде, какие-то крохи реальности. В действительности, как выяснилось, ваш «мемуарист» обошелся даже и без таких крох. В своих письмах в «Литературную газету» вдова поэта М. И. Твардовская, люди, вместе с ним работавшие в журнале (В. Я. Лакшин, А. С. Берзер, К. Н. Озерова, Г. П. Койранская), а также критик Н. И. Ильина, опираясь не только на свою память, но и на разного рода документальные источники, засвидетельствовали, что:

— ни рукописи «Карюхи», ни какой бы то ни было рецензии на нее в редакции «Нового мира» никогда не было; ни самая повесть, ни рецензия на редколлегии журнала не обсуждались;

— с произведениями М. Алексеева, получившими отрицательную оценку на страницах «Нового мира», Твардовский был знаком до опубликования соответствующих критических материалов; более того, он первым среди сотрудников журнала прочел «Повесть о моих друзьях-непоседах» и лично заказал Наталье Ильиной критический фельетон «Сказки брянского леса», который до конца своей жизни считал одним из лучших выступлений журнала; никакому пересмотру его отношение к сочинениям М. Алексеева никогда не подвергалось;

— на юбилейном вечере М. В. Исаковского, состоявшемся не в ЦДЛ, а в зале им. Чайковского, Твардовский не председательствовал и с М. Алексеевым не беседовал.

Таким образом, было установлено, что не только по сути, но и по всем деталям, из коих М. Алексеев сплел сюжет рассказанной им истории, она представляет собой чистейшую выдумку. (...)

Как же ведет себя в подобной ситуации «Литературная газета»? Публикует эти письма, на чем настаивают авторы (кстати, четверо из них — члены Союза писателей) и как того требует элементарная журналистская этика? Печатает хотя бы одно из них? Каким-либо иным способом дезавуирует свое сообщение? Нет, она не делает ни того, ни другого, ни третьего. Тогда, может быть, она — сама или с помощью того же М. Алексеева — что-либо возражает авторам писем, оспаривает какие-то приведенные ими факты? Опять-таки нет. Она либо молчит (в случае со мною вот уже три месяца), не реагируя ни на какие напоминания, либо отвечает — за подписью члена редколлегии Ф. Чапчехова — короткой штампованной отпиской, содержание которой сводится к тому, что редакция не намерена возвращаться к интервью М. Алексеева, — с добавлением, столь же безграмотным по стилю, сколь фарисейским по существу, что это, дескать, «не способствовало бы памяти Твардовского». Следовательно, когда М. Алексеев рассказывает всему свету, будто редактор «Нового мира» краснел перед ним и просил прощения, то это «способствует памяти Твардовского», а когда приходят люди и с фактами в руках доказывают, что ничего подобного не было, то это, оказывается, «не способствует» и перед ними захлопывают дверь.

Что можно сказать по поводу подобных ответов (равно как и неотвечено; разница между теми и другими, как видим, невелика)? Прежде всего из них явствует, что ни М. Алексееву, ни газете сказать абсолютно нечего. Никаких аргументов, которые они могли бы привести в подтверждение своего сообщения, равно как и никаких возможностей опровергнуть то, что говорят авторы писем, у них нет. (...) Если до этих «ответов» между М. Алексеевым и уличающими его письмами еще как бы существовала ситуация спора, то теперь спор закончен, обман, совершенный им, не только доказан, но, по существу, подтвержден и самой «Литературной газетой». А с другой стороны, из них же следует, что восстанавливать истину редакция не собирается, полученные опровержения намерена скрыть, а их авторам пытаются тем или другим способом заткнуть рот. (...)

На этой констатации я позволю себе закончить нашу одностороннюю «переписку».

Без надежды на ответ

(Подпись)

24 ноября 1979 г.

Действительно, ответа я уже не ждал, и в самом деле на этом можно было бы закончить, но, чтобы поставить последнюю точку над *i*, я решил сделать еще один шаг: написал заявление в секретариат правления Союза писателей СССР, приложив к нему копии своего открытого письма и двух последующих писем в «Литгазету».

По всем нормам, секретариат обязан был рассмотреть заявление члена Союза писателей и дать на него официальный ответ. Даже если бы речь шла о чем-то гораздо более мелком, нежели обнаруженная перед руководством Союза безнравственность поведения его главного органа. Тем не менее и секретариат мне тоже не ответил — ни письменно, ни устно. Единственное, что я получил, так это запоздалую отписку Ф. Чапчахова («в связи с Вашим заявлением в секретариат правления Союза писателей СССР»), отличавшуюся от тех, что ранее получили мои товарищи, лишь неловкой попыткой объяснить упорное молчание «Литгазеты» сплошной, многозвенной цепью почтовых пропаш. Разоблачить это неудачное сочинение не стоило большого труда, и 12 декабря того же года я вновь обратился к руководству Союза писателей, настаивая на рассмотрении своего заявления.

Ответа на это, как, собственно, и на предыдущее свое обращение в секретариат, я жду вот уже девятый год. Срок достаточный для того, чтобы не спеша обдумать вышеописанный эпизод. И чем больше я думал о нем, тем более показательным он мне представлялся, тем явственнее проступали в нем характерные черты того общего положения вещей, которое мы сейчас поставили задачей преодолеть.

В самом деле, о чем говорит тот факт, что ни мне, несмотря на все усилия, ни людям, гораздо более меня известным и авторитетным, не

дали тогда возразить М. Алексееву (чье заявление так и остается неопровергнутым)? Он знаменует собой то, что можно было бы назвать **бессилием правды**. Это не значит, конечно, что всюду царила одна сплошная ложь, правду же вообще никуда и ни по какому случаю не пускали на порог. Но — могли и не пустить. Если была не нужна, если в чем-то расходилась с «видами начальства», если кому-то или чему-то мешала, могли без дальних объяснений захлопнуть перед нею дверь.

В описанном выше случае на то были две легко угадываемые причины.

Первая заключалась в общественном положении М. Н. Алексеева (редактор толстого журнала, секретарь правления Союза писателей РСФСР и прочая, и прочая). Конечно, не каждый на его месте мог решиться на такой необычный шаг. Но поскольку он на это решился, дальнейшее развитие событий было этим уже в значительной мере предопределено. Должен был сработать тот неписанный закон, который, как утверждают социологи, действует в элитарных группах и сводится, попросту говоря, к принципу взаимного невмешательства. Нас не трогай — мы не тронем. Если некто, обладающий силой, властью, связями, не меньшими, чем твои, считает нужным сделать какой-то шаг, против тебя ни прямо, ни косвенно не направленный, то предоставь ему его сделать, не становись у него на пути. Тогда и он в соответствующем случае не помешает тебе, а глядишь, и поможет. Так что если бы даже редактору «Литгазеты» не слишком нравилась интересующая нас часть интервью М. Алексеева, потребовать ее исключения либо согласиться опубликовать какие-либо возражения на нее было бы с его стороны прямым нарушением названного принципа, более важного, чем какие-то «формальные» редакторские обязанности. Перед той же дилеммой оказались и руководители СП СССР, на которых пала досадная необходимость рассматривать мои заявления: дать им ход значило нарушить этот принцип не только по отношению к М. Н. Алексееву, но теперь уже и по отношению к А. Б. Чаковскому. И они (кто именно — оргсекретарь Ю. Н. Верченко или сам Г. М. Марков, на чье имя посылал я эти заявления, — не берусь судить) сделали точно такой же выбор: заявления были оставлены без ответа и положены под сукно.

Второй специфический момент заключался в самом Твардовском, вернее в официальном отношении к нему тех времен, когда со многих сторон урезанный, отделенный от себя самого, с особенной беззастенчивостью «присваивался» он теми, против кого при жизни воевал. Тут была замешана тогдашняя «большая политика», и потому расчет М. Алексеева был безошибочен вдвойне: с человеком, который взял на себя инициативу заставить Твардовского признать правоту своих бывших противников и хотя бы в одном, но принципиальном пункте отмежеваться от «линии «Нового мира»», никто — ни редактор «Литгазеты», ни секретариат Союза писателей — не могли и не захотели бы допустить открытого спора.

Все это так. Но разве и сами эти специальные причины не были выражением общего? Разве разгром «Нового мира» Твардовского не был, в свою очередь, самым красноречивым и крупномасштабным за всю историю советской журналистики пресечением «возможности возразить»? И разве, с другой стороны, страховый полис от критики, выданный М. Алексееву редактором «Литгазеты» и руководством Союза писателей, представлял собой что-нибудь исключительное? Здесь оградили от неприятных возражений одно из влиятельных в этом союзе лиц, там — скажем, в областной или районной газете — отказали в публикации письма с критикой, например, какого-нибудь директора завода, поскольку он к тому же член бюро обкома или райкома... Истории разненькие, а суть одна: бессилие правды. И не было у нее в тогдашних условиях почти никаких реальных возможностей себя отстоять. Другая газета или журнал? В 70-е годы они в этом отношении мало отличались друг от друга да к тому же были незримо скреплены вышеупомянутой системой неформальных начальственных связей. Отговорка всегда оказывалась наготове. Вы несогласны с «Литгазетой»? Вот туда и обращайтесь. У них там в каждом номере «Спор идет», а нам с ними связываться ни к чему, нам это не по профилю, у нас все номера забиты на год вперед... Стандартные, заранее известные ответы.

Не отсюда ли то спокойствие, та незыблемая уверенность в собственной неуязвимости и безнаказанности, которая сквозила во всем поведении упоминавшихся лиц? И М. Н. Алексеева, заранее пренебрегшего неизбежными опровержениями в твердом убеждении, что ходу им не дадут. И Ф. А. Чапчачова с его высокомерно-односложными отписками, даже и не претендующими на какую-либо убедительность, а лишь призванными показать, что автор их выступает «с позиции силы». И А. Б. Чаковского и его коллег по секретариату «большого Союза» с их совсем уж величественным, непробиваемым молчанием. Так вести себя можно было лишь в одном случае: когда твердо знаешь, что такое поведение и есть реальная общественная норма (как бы та же «Литературная газета» ни доказывала подчас противоположное, укоряя отмалчивающихся и отписывающихся заместителей министров).

Но что такое бессилие правды? Не что иное, как бессилие человека. Если член творческого союза раз и другой обращается к руководителям этого союза, а они ему даже не отвечают, то как в таком случае определить их взаимные отношения? Кто они по отношению к нему: товарищи по ремеслу, временно им уполномоченные на выполнение некоторых общецеховых организационных функций, или же вознесшаяся над ним привилегированная группа, практически не сменяемая, ни в малейшей степени ему не подконтрольная, более того, просто-напросто помыкающая им, как и прочими «рядовыми»? Ответ очевиден. Если кто-то посылает в газету (в наших условиях являющуюся государственным учреждением) свой протест против помещенного в ней материала, если он стучится туда раз, другой, третий — и встречает гробовое молчание,

значит, как ни грустно это признать, его просто не считают за человека. Значит, записанные в Конституции его гражданские права, включая свободу слова и печати, попросту игнорируются как нечто, существующее только на бумаге. Безгласность, невозможность возразить есть в действительности не только недостаток гласности, но и нечто большее: по сути дела, это эквивалент бесправия и произвола, своего рода символ недемократических общественных отношений. Как, с другой стороны, и утверждающаяся ныне гласность — она тоже шире самой себя: она проявление иного взгляда на человеческую личность, иных, демократических взаимоотношений между людьми.

2

Об успехах нашей нынешней гласности трудно говорить без искреннего воодушевления. Однако если мы хотим не только праздновать, но и развивать эти успехи, нам следует вполне точно, не впадая в восторженные преувеличения, сознавать реальные пределы достигнутого. В частности и по отношению к тому, насколько выросла и упрочилась к настоящему времени доступная каждому из нас возможность возразить.

Позволю себе в этой связи еще пару эпизодов из собственной авторской практики.

В конце 1986 — начале 1987 года я написал небольшую статью в виде отклика на помещенные в «Огоньке» фрагменты воспоминаний Ю. В. Трифонова, собственно, даже не статью, а историческую справку о последних месяцах Твардовского в качестве редактора «Нового мира». Не будучи непосредственно полемической, она, конечно, несла в себе определенный критический заряд — по отношению к тем, кто санкционировал и осуществлял разгром журнала; некоторые из них были названы здесь поименно. И вот, прежде чем увидеть свет, заметка эта побывала последовательно в редакциях трех московских газет и шести журналов. Везде к ней относились очень хорошо, предлагали своим главным редакторам, а возвращая мне текст, высказывали искреннее сожаление. Но... для одних она оказывалась слишком велика (а дробить такой материал нельзя!), для других слишком мала, недостаточно фундаментальна, для третьих в их трудных обстоятельствах несвоевременна. Мотивы отказа звучали различно, однако основной причиной, как откровенно признавались мне в иных редакциях, были именно упомянутые здесь имена: частичное обнаружение той роли, какую сыграли в проведении названной операции некоторые по-прежнему влиятельные литературные деятели. А в одном журнале не стали и темнить: твердо брались напечатать, если имена авторов «письма 11-ти» будут сняты. А еще в одном и вовсе чуть-чуть было не напечатали: главный редактор, вначале решившись на это, в последний момент изъяс статью из номера, уже подписанного к печати Главлитом!

Прошу поверить: я отнюдь не жалуясь и не обвиняю. Просто хочу констатировать тот факт, что и в условиях минувшего года, когда, как казалось, наверное, многим, гласность прорвала все плотины, обусловленная ею «возможность возразить» оказалась в данном случае весьма труднодостижимой — даром, что «возражение» относилось к событиям почти двадцатилетней давности. Но если эта заметка в конце концов все же была опубликована («Октябрь», 1987, № 12), то попытка высказать несогласие с одним уже сегодняшним выступлением ряда «значительных лиц» нашей литературы потерпела полную неудачу.

Весной прошлого года в еженедельнике «Литературная Россия» (1987, 24 марта) появился развернутый отчет о заседании секретариата правления Союза писателей РСФСР. Своеобразие этого, можно сказать, исторического заседания состояло в том, что едва ли не впервые за время перестройки здесь одна за другой раздавались речи, выдержанные в одной и той же мрачной тональности, проникнутые общим чувством раздражения по поводу процессов, протекающих в последнее время в советской печати, литературе, критике. Один из ораторов сравнивал нынешнее положение вещей с тем, какое создалось «в июле 1941 года, когда прогрессивные силы, оказывая неорганизованное сопротивление, отступали под натиском таранных ударов цивилизованных варваров», и пророчествовал, что «если это отступление будет продолжаться и не наступит пора Сталинграда (!), дело кончится тем, что национальные ценности... будут опрокинуты в пропасть». Ему вторил другой: «Кое-кто сегодня хочет свалить все духовные ценности в яму и закопать, чтобы и духу не было прежних наших завоеваний в культуре». «У нас сложилась беспокойная обстановка в писательских организациях России», — сетовал третий. «Бог знает, куда мы докатимся», — пугал четвертый.

Откуда, хотелось спросить, эта осень весной, эти угрюмые интонации и образы чуть ли не конца света: «пропасть», «яма», «могила»? Почему и десять, и пять, и три года назад, когда положение страны (литературы и критики в том числе) становилось все более удручающим, те же ораторы, как можно судить по тогдашним их выступлениям, пребывали в отличном настроении? Почему оно так резко испортилось именно теперь — с первыми шагами гласности, демократизации, общественного обновления?

Ответ напрашивался сам собою. Называя вещи своими именами, заседание, посвященное обсуждению «задач писателей России в свете решений январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС», вылилось на деле в своего рода форум людей, раздраженных и обеспокоенных перестройкой. Конечно, слегка прикрытый фиговыми листочками дежурных «одобряющих» фраз, но в целом достаточно откровенный в этом своем качестве. Примечательно, что ни во вступительном слове, ни в докладе, ни в выступлениях в прениях, судя по отчету, ни слова не было сказано о том, как отразилась обстановка безгласности и застоя на деятельности

руководства СП РСФСР и его печатных органов и что предстоит сделать теперь, чтобы это исправить.

Неожиданно ли было подобное выступление именно данной группы лиц? Для человека того поколения, которое помнило, какую роль играли многие из них во второй половине 60-х годов, когда затаптывался процесс демократизации, начатый XX съездом партии, это не было неожиданностью. Любопытная деталь: трое из ораторов, чьи речи с особой отчетливостью выявили общую тенденцию заседания (М. Алексеев, П. Проскурин, Н. Шундик), подписали в 1969 году упоминавшееся «письмо 11-ти», а четвертый (А. Софронов) напечатал его на страницах тогдашнего «Огонька».

То, что литературные представители сил торможения выступили — и с трибуны, и в печати, — это само по себе можно было бы только приветствовать. Во-первых, на то и гласность, чтобы любая общественно значимая точка зрения имела возможность себя заявить. Во-вторых, их выступление положило конец ложному впечатлению, будто все у нас «за» и процесс перестройки может пройти гладко, без сопротивления. Плохо было, однако, другое: как видно из отчета, на подобные речи никто не возражал. Не дали слова? Или при данном составе участников заседания даже и охотников не было возражать?

Как бы то ни было, я почувствовал желание это сделать, в частности и как член республиканской писательской организации, от имени которой выступали означенные товарищи. Выразив свое мнение в виде короткого письма в редакцию «Литературной России» (близкого по содержанию к тому, что здесь изложено), в сопроводительной записке на имя главного редактора высказал надежду на то, что и мне его газета не откажет в равных возможностях гласности.

Надо отдать должное, он ответил мне буквально в тот же день:

14. IV. 1987

Уважаемый Юрий Григорьевич!

Ваше «Письмо в редакцию» мы опубликовать не можем, т. к. оно касается не собственно редакционного материала, а отчета о состоявшемся секретариате правления СП РСФСР. Дело другое, если бы в письме шла речь об искажении чьей-то мысли на этом секретариате, неточности, ошибке, допущенной редакцией. Вы же выражаете несогласие почти со всеми ораторами, а по существу, оспариваете позицию всего секретариата. В таком случае Вам следует апеллировать к вышестоящему органу, а именно — к правлению Союза писателей РСФСР.

С уважением М. Колосов,
главный редактор «Литературной России».

Очень интересным показался мне этот ответ. «Не можем опубликовать» — почему? Может быть, потому, что письмо неграмотно, бессодержательно, нелогично, содержит оскорбительные выпады личного характера? Нет, на этот счет не высказано никаких претензий. Тогда в чем же

дело? Первое объяснение, предлагаемое М. М. Колосовым, состоит в том, что оно «касается не собственно редакционного материала, а отчета». Но откуда взялось такое ограничение? Разве наша печать не публикует — притом в большом количестве — отклики на заседания и пленумы различных руководящих органов, на речи, которые там произносятся и с которыми мы точно так же знакомимся по газетным отчетам? Нет, тут явно что-то не так, и М. М. Колосов, сам чувствуя неубедительность этой части своего ответа, называет чуть ниже уже настоящую причину: мое «несогласие почти со всеми ораторами», попытку оспорить «позицию всего секретариата». Вот это уже другой разговор, и его имеет смысл продолжить.

Итак, мне с достаточной откровенностью было заявлено, что мой отклик не напечатан потому, что он — против. Что быть помещенным на страницах «Литературной России» он имел шансы при двух условиях: если бы одобрял позицию секретариата или в крайнем случае если сводился бы к какому-нибудь мелкому уточнению — не более того. «Несогласному» же указывалась единственная возможность — «апеллировать к вышестоящему органу».

Прекрасный совет, разрешающий все вопросы. Кроме одного: какое отношение имеет он к гласности? Гласность, выражающаяся в праве на публичное одобрение руководящих речей и решений, а с другой стороны, на апелляцию в вышестоящие органы, — такую-то гласность имели мы и до перестройки... Самое главное, чем замечателен ответ редактора «Литературной России», — это то, что весь он соткан из **старого** материала, из старых представлений и норм, новое же, то, что называется «эпохой гласности», не отпечаталось здесь ни единым мельчайшим штрихом. Это не ответ журналиста-демократа, который видит свой долг в полном и адекватном выражении общественного мнения и для которого самой главной из вышестоящих инстанций является читатель, то есть народ: это ответ чиновника в вицмундире Департамента печати. Озабоченного лишь мнением начальства, а по отношению к материалам, которые с этим мнением расходятся, видящего свою обязанность в том, чтобы «отбивать» их, закрывать им дорогу в печать. Желательно вежливо, со сколько-нибудь правдоподобной мотивировкой, а по возможности и с добрым советом... уводящим в пустоту.

Признаюсь, я не последовал этому совету. И потому, что уже стучался в подобные двери — с результатом, известным читателю. И потому, что убежден в справедливости принципа, на котором всегда настаивал Твардовский: с опубликованным в печати лишь в печати же и следует спорить. Толкнувшись без успеха туда-сюда, оставил эту затею. Однако урок, преподанный мне редактором «Литературной России» (наряду со всеми прежними и некоторыми последующими опытами такого рода), я, понятно, не мог не принять во внимание. На протяжении 1987 года при чтении нашей прессы меня еще не раз подмывало схватиться

за перо¹. Но вспоминался М. М. Колосов (и конкретный, и, так сказать, символический) — и пропадала охота писать лишь затем, чтобы заставить его поломать голову над очередной вежливой отпиской.

Разумеется, я далек от того, чтобы на базе каких-то не совсем благоприятных личных впечатлений последнего времени ставить под сомнение как общий прогресс в сфере гласности, так и расширение ее в рассматриваемой плоскости — критики, полемики, словом, «возможности возразить». Это было бы противно всякой очевидности, в том числе и моему собственному авторскому опыту. Ведь как бы то ни было, а заметка о конце «старого «Нового мира»», хоть и с десятой попытки, все же увидела свет — три года назад об этом нельзя было и помыслить. И разве могла быть в те времена возможна та публикация читательских писем, к которой эта заметка была присоединена? Я имею в виду прежде всего письма-возражения, письма-протесты. Те, что не только автора, но заодно и редакцию облачают в таких смертных грехах, что, помещая эти письма, она, кажется, сама на себя доносит куда следует. Возможно ли было раньше представить себе в печати что-либо подобное?

Нет, конечно. Но вот что при этом бросается в глаза: едва ли не в каждом протестующем письме звучит один и тот же мотив — неуверенность в том, что оно может быть опубликовано. Или даже уверенность в обратном. О чем это говорит? Я думаю, не о чем другом, как о том, что хотя подобные публикации сегодня уже не редкость, нормой

¹ Так, например, меня почти как личное оскорбление задела статья Василия Рослякова «Реванш?» — в той же «Литературной России» (28 августа) и с тем же, что в цитированных речах на секретариате СП РСФСР, апокалиптическим восприятием первых шагов гласности и демократизации. Только выраженным в ином — этаким мрачно-ёрническом — тоне («Вот и дождались, мы, слава труду, наших светлых дней»). Приведа, к примеру, строки Ахматовой:

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня,—

автор комментировал их так: «Они — это пострадавшие. «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать». Теперь дело идет к тому, что появятся и отнятые списки, и все, все будут названы поименно». Это глумливое «пострадавшие», отнесенное к бесчисленному множеству невинно распотанных в 1937—1938 годах человеческих жизней, мало с чем сравнимо даже в нашей, выдавшей всякие виды, печати. Разве что с выраженной в той же статье готовностью оправдать «любую цену», которой сначала крестьянству, а затем и всему народу нашему на протяжении многих десятилетий, вплоть до сегодняшнего дня, пришлось оплачивать сталинскую государственно-феодалную подмену ленинского кооперативного плана. Велико было желание ответить этому... патриоту, которому — поскользку «Отчизна в общем-то всегда права и никогда не бывает виноватой ни перед кем» — не жалко человеческих слез и крови и не дорога «любая цена», благо не им она плачена...

они все-таки далеко не стали. Захочет редактор поместить такое письмо — поместит, не захочет — ограничится в лучшем случае почтовым ответом. Никакой обязательности для него тут нет, как нет, соответственно, никаких гарантий для самого «протестанта».

Поэтому, между прочим, если бы меня спросили: возможно ли было бы сегодня что-либо подобное инциденту, рассмотренному в первой части статьи, я, пожалуй, не решился бы ответить на этот вопрос категорически отрицательно. И не столько даже потому, что все без исключения действующие лица той давнишней истории и ныне пребывают в прежних социальных ролях (что тоже само по себе знаменательно). Главное в том, что хотя уровень гласности заметно вырос, однако институт гласности и связанные с ним общественные отношения не претерпели пока что сколько-нибудь значительного изменения. А это значит, что вся та мерзость безгласности и заведомого обмана, круговой поруки и наглого произвола, которая с прямо-таки художественной законченностью выразилась в этой истории, — вся эта старая мерзость лишь немного притихла, но в основаниях своих остается нетронутой.

Что же, конкретно говоря, препятствует и сегодня свободному осуществлению гласности? Что ограничивает для нас с вами «возможность возразить»?

Одно из бросающихся в глаза обстоятельств состоит в том, что эта возможность в известной мере лимитирована уже самим «рангом» издания. Так, например, районная газета не может допустить на своих страницах ни сколько-нибудь серьезного спора с газетой областной, ни критики районного комитета партии, ни просто даже полемики с каким-либо выступлением секретаря райкома. Хочешь с этим выступить в печати — пиши в областную газету; хочешь критиковать обком — обращайся в «Правду»: авось тебе повезет и, извлеченная из тысяч приходящих туда писем, твоя полемическая заметка попадет на страницу главной газеты страны. Только велики ли шансы, даже теперь, когда подборки читательских писем печатаются гораздо обильнее, чем прежде?

Сказанное имеет отношение и к более общей ситуации нашей печати: к зависимо-му положению обеих ее главных фигур — Автора и Редактора. Автор (если только он не из тех, кого Редактор выходит встречать к подъезду) целиком зависит от Редактора, облеченного властью решать, печатать его рукопись или нет. В свою очередь, Редактор отвечает за свою деятельность не столько перед читателем (лишь морально), сколько — практически и материально — перед своим начальством, то есть прежде всего перед руководством того государственного или общественного института, органом которого является возглавляемый им журнал или газета. Эти люди его назначили, они же могут его и сместить. И не только могут, но даже чуть ли не обязаны так поступить, если он выкажет по отношению к ним какую-то самостоятельность и непокорность. В свою очередь, степень свободы Редактора, естественно,

отражается на его взаимоотношениях с Автором, в том числе и на предоставляемой им последней возможности возражать и критиковать.

Вот почему, признаться, я не испытывал почти никаких личных чувств к М. М. Колосову, не позволившему мне публично возразить руководящим деятелям СП РСФСР. В качестве служащего он поступил самым обычным и нормальным образом (хотя сегодня, конечно, мог бы поступить и иначе). Точно так же меня ничуть не удивляло поведение тех редакторов, которые по сходным причинам один за другим отклоняли заметку о том, как добивали Твардовского-редактора. Более того, допускаю, что подобное решение могли принимать люди, в нравственном отношении весьма различные. И те, кто озабочен лишь собственным преуспеянием, и те, кого к сугубой осторожности побуждало нежелание слишком сильно рисковать делом, соединяющим в себе усилия и творческие судьбы многих людей. В качестве лиц служебно зависимых — притом не только от своего «официального» непосредственного начальства, но и от закулисно связанных с ним могущественных элитарных групп — они поступили так, как десятилетиями приучал их поступать сложившийся порядок вещей. Тот порядок вещей, в рамках которого печат с течением времени рассматривалась все больше как орган государства, все меньше как орган общества, все больше как инструмент руководства массами и все меньше, до минимума, как выражение их собственных мыслей и чувств, неофициального «мира мнений».

В свете всего предыдущего — вопрос: а может ли быть иначе? Не чуть-чуть, а существенно иначе и не где-то там, в иные времена и в иных землях, а у нас и при нас?

Тот или иной ответ — прямое производное от возможностей и перспектив демократизации, перестройки.

3

Чтобы демократизация не осталась добрым пожеланием, она должна быть обеспечена организационно. Нужны организационные формы, которые дали бы возможность сделать этот процесс, во-первых, достаточно интенсивным (ибо демократизация по чайной ложечке и «от сих до сих» явно не даст желаемого эффекта и вновь легко может стать фиктивной), во-вторых, самодвижущимся, не зависящим от того, сколько часто и сильно подталкивается он сверху. Это относится и к такому инструменту демократии, как гласность. Необходимо безотлагательно выработать комплекс организационных мер, которые позволили бы превратить ее из щедрого, но случайного подарка судьбы в повсеместную и устойчивую норму.

В этой связи — два практических предложения, общая цель которых — уменьшить отмеченную выше зависимость Автора и Редактора.

1. Нужно сделать так, чтобы каждый гражданин Советского Союза мог при желании печатно оспорить любую публикацию прессы, не испрашивая на то чьего бы то ни было согласия.

Как бы это могло выглядеть? В каждом журнале и газете создается постоянный раздел «Полемика», достаточного фиксированного объема, где с корректорской и минимальной стилевой правкой, но без какой-либо иной редактуры печатаются отклики на любые публикации, появившиеся в этом издании. При наличии таких откликов редакция не может занимать отведенную им площадь никаким другим материалом. Вместе с тем она не отвечает за содержание данного раздела и следит лишь за тем, чтобы каждый из помещаемых в нем материалов не выходил за рамки установленного объема (скажем, не более трех страниц на машинке) и не заключал в себе чего-либо противозаконного (например, призывов к насилию, личных оскорблений, оскорблений национального или религиозного чувства, непечатных выражений и пр.). Отклики, не отвечающие этим требованиям, попросту возвращаются авторам с мотивировкой отказа в их публикации. Кроме названных причин, основанием отказа может быть разве что явная некомпетентность (в областях, требующих определенных знаний), бессодержательность или невнятность отклика, а также совпадение его по содержанию с каким-либо ранее опубликованным. При наличии подобных однотипных откликов редакция может напечатать один из них, сопроводив его полным перечнем остальных корреспондентов, выразивших ту же точку зрения.

Особый статус названного раздела, его, так сказать, экстерриториальность в журнале или газете можно подкрепить безгонорарностью и, более того, платностью помещаемых в нем публикаций — примерно на тех же основаниях, как оплачивается подача объявлений.

Два вопроса. Как быть, если в каком-либо журнале или газете приток разнообразных по содержанию полемических откликов окажется устойчиво превышающим возможности предлагаемого раздела? И как распространить это предложение на книги и брошюры? Выходом представляется создание, помимо упомянутых разделов в периодике, специального всесоюзного издания такого же характера и назначения, лучше всего — еженедельника и, возможно, под тем же названием «Полемика». Оно же могло бы печатать и материалы различных дискуссий на актуальные общественные темы. При нем может быть создан специальный арбитраж, разбирающий случаи необоснованного, по мнению авторов, отказа в опубликовании тех или иных полемических материалов.

Предложенная мера носит, конечно, частичный характер, но в случае последовательного проведения в жизнь — а что может этому помешать, кроме противодействия тех, кто не заинтересован в гласности, в демократизации? — она могла бы иметь весьма сильный и многосторонний эффект. Печатное слово, на которое любой может тут же вечно возразить, с неизбежностью должно было бы стать гораздо взвешеннее, ответственнее, точнее. Насколько бы это повысило доверие к прессе, а значит, и ее эффективность, силу ее воздействия на массы! А главное, человек, который знает, что в случае необходимости он может заявить о своем несогласии и будет услышан, — насколько больше

он имеет внутренних оснований для социальной активности и уважения к себе, для того, чтобы чувствовать себя (а значит, и быть) человеком, гражданином!

2. Второе предложение — более общего порядка. Смысл его состоит в том, чтобы печать, которая в обозримый исторический период призвана у нас сыграть роль одного из основных двигателей демократизации, — чтобы она сама стала более демократичной, менее официальной.

Сейчас у нас что ни газета, то орган каких-то руководящих — в сфере ее распространения — инстанций, целиком им подчиненный: районная — райкому и райисполкому, областная — обкому и облисполкому. «Медицинская» — Министерству здравоохранения и т. п. Так же обстоит дело и с подавляющим большинством журналов. Но почему, спрашивается, наши журналы и газеты должны почти обязательно носить какой-нибудь ведомственный или местнический мундир? Почему, к примеру, та же «Литературная Россия», редактор которой в описанном выше случае столь красноречиво пренебрег гласностью в пользу субординации, — почему она не просто литературная газета, но «орган правлений Союза писателей РСФСР и Московской писательской организации»? И почему, скажем, «Москва», «Наш современник» или «Октябрь» — органы того же республиканского союза, а «Новый мир» или «Знамя» — СП СССР? В чем смысл этой разницы и почему вообще как те, так и другие являются органами чего-то, а не просто литературными журналами? А с другой стороны, почему у каждого названного союза должно быть по «своей» газете и по несколько журналов? Разве в них печатаются только или хотя бы в основном члены Союза писателей? Или по крайней мере пользуются здесь какими-то узаконенными преимуществами перед «несоюзными» авторами? Нет, таких привилегий, слава богу, не существует. В чем же дело? Как-то не видно тут никакого иного резона, кроме того, чтобы над каждой газетой и почти каждым журналом было какое-то «свое» начальство, которое бы за ними надзидало и не давало бы им слишком много воли.

Но если это так, то не вреден ли этот порядок, оставшийся нам в наследство от сталинских времен, не противен ли он духу демократизации?

Конечно, нужны и официозы, то есть периодические издания, призванные в наиболее адекватном виде выражать как общую политическую линию партийно-государственного руководства, так и позиции его по тем или иным конкретным вопросам текущей жизни. Такие издания, естественно, должны быть официальными органами представляемых ими государственных или общественных организаций. Но одно дело — существование ограниченного круга подобных изданий («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Красная звезда», ведущие газеты в союзных республиках, некоторые центральные журналы, например, «Коммунист», «Ведомости Верховного Совета СССР» и пр.), и совсем другое дело — та «сплошная официализация» прессы, внешним

выражением которой является словечко «орган», почти обязательно следующее за названием сотен и тысяч издающихся у нас газет и журналов. Она не приносит нашему обществу ничего, кроме вреда.

Предвижу вопросы и возражения со стороны тех читателей, для которых сложившийся порядок вещей представляется единственно правильным, единственно возможным. Дескать, как же это так, если, скажем, областная газета перестанет быть органом обкома и облисполкома? Не приведет ли это к ослаблению партийного руководства печатью? И не утратит ли она в таком случае свою роль коллективного пропагандиста, агитатора и организатора, — как обычно формулируются у нас, со ссылкой на Ленина, задачи прессы?

По-моему, совсем напротив: не утратит, а приобретет. В том-то и беда, что чем более официальной и зависимой становилась наша пресса, тем не менее пригодной оказывалась она к действительному, неформальному выполнению таких задач. Чем больше и дольше она — на этот свой казенный лад — пропагандировала и агитировала, тем большее число людей отталкивала от провозглашаемых ею идеалов — кого в церковь, кого в вещизм, стяжательство и карьеризм, кого в пьянство и наркоманию, а всех вместе в общественную пассивность. Не одна она, конечно, это делала, но и ее вину не следует преуменьшать. И чем больше заявляла она организаторских претензий, то указывая колхозникам, когда им пахать и сеять, то обличая отстающих по удоям молока или по выплавке стали, тем шире разливалась и уже накрывала нас с головой стихия бесхозяйственности, бюрократизированной анархии производства.

Без самостоятельности нет позиции, а без позиции, без собственно взгляда на вещи не может быть ни убедительной пропаганды, ни горячей, увлекающей агитации, ни сколько-нибудь действенного организующего эффекта. В свою очередь, газета или журнал с позицией, с самостоятельностью выработанным направлением — они-то и убеждают, и увлекают, и воспитывают, и собирают вокруг себя единомышленников, даже если (как тот же «Новый мир» Твардовского) не прилагают к этому никаких специальных усилий.

Что же касается партийного руководства печатью, то весь вопрос в том, как его понимать. Если понимать его как надзорительство и командование, если рассматривать журналистов в качестве «подручных партии», по выразительному определению Хрущева, то в таком случае нам от системы «органов», от нынешней иерархической подчиненности печати отказываться нельзя. Если же видеть в печати инструмент демократии, одну из основных форм осуществления социалистического самоуправления народа, а партийное руководство этими процессами мыслить как руководство **политическое**, то есть идейное, то его успех только затруднялся бы административным подчинением газеты или журнала тому или иному партийному комитету. Тут нужны тогда совсем иные взаимоотношения, и в таком случае уже вовсе не обязательно

тому же обкому и облисполкому иметь «свою» газету — достаточно и того, что в местной газете у них может быть свой постоянный отдел.

Итак, поменьше «органов», побольше просто журналов и газет, разнообразных по своему характеру и направлению, свободных от подчинения ведомствам или местным властям! Вполне разделяю в этом отношении общую мысль читателя «Огонька» (1988, № 2) инженера Ю. М. Карбовского, выраженную им, правда, в несколько робкой и половинчатой форме: «Быть может, следует создать Ассоциацию работников средств массовой информации при Совмине СССР и все органы информации сделать органами этой Ассоциации, выведя их из прямого исключительного подчинения инстанциям на местах». Едва ли правильно было бы пытаться удержатъ, хотя бы в таком ослабленном виде, бюрократический принцип официальности и зависимости печати, заменяя у нее над головой одно непосредственное начальство другим, да еще специально для этого созданным. Почему обязательно «орган»? Пример самого «Огонька», одного из, правда, немногих наших журналов, не являющихся ничьим органом, говорит о возможности вневедомственной прессы. А между тем разве тот же «Огонек» существует вне сферы партийного руководства?

Не потерял ли я под конец свою тему, не уклонился ли от рассмотрения «возможности возразить» и обуславливающих ее обстоятельств? Думаю, что нисколько. Ведь, как уже отмечалось, возможности критики в печати тех или иных явлений и лиц, предоставляемые Автору Редактором, находятся в прямой зависимости от того, насколько он сам свободен и самостоятелен в своих решениях. А это, в свою очередь, непосредственно связано с проблемой «органа», его административной подчиненности и, шире, с общим социально-правовым положением в печати. Как ни важно иметь в газете или в журнале специально выделенный раздел, куда могли бы безо всяких помех выплескиваться непросеянные и непричесанные критические мнения и оценки читателей, все же это была бы только маленькая форточка, постоянно открытая свежему воздуху гласности. А надо распахнуть ему все окно.

Было бы желательно, чтобы в готовящемся Законе о печати, принятие которого — одна из первоочередных современных нужд, поднятые вопросы получили полное, последовательно демократическое разрешение.

Конечно, в каком-то предельном смысле возможность возразить есть всегда. Возражали все наши истинные демократы и революционеры, начиная с Радищева и Герцена. В годы минувшего безвременья возражал Твардовский — и своим журналом, и своей последней поэмой. Возражали своими песнями Окуджава и Высоцкий. Возражал академик А. Д. Сахаров... Но общество внутренне здоровое или по крайней мере жаждущее оздоровления не может допустить, чтобы эта возможность оставалась горькой привилегией самоотверженных одиночек. Она должна быть открыта и обеспечена каждому. Без этого нельзя жить.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

«Вам, из другого поколения...»	3
Возможность возразить	29

Юрий Григорьевич БУРТИН ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗРАЗИТЬ

Статьи

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 30.03.88. Подписано к печати 24.05.88. А 00347.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитур «Гарамонд». Офсетная печать.
Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,18. Тираж 150000 экз.
Заказ № 2228. Цена 10 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.